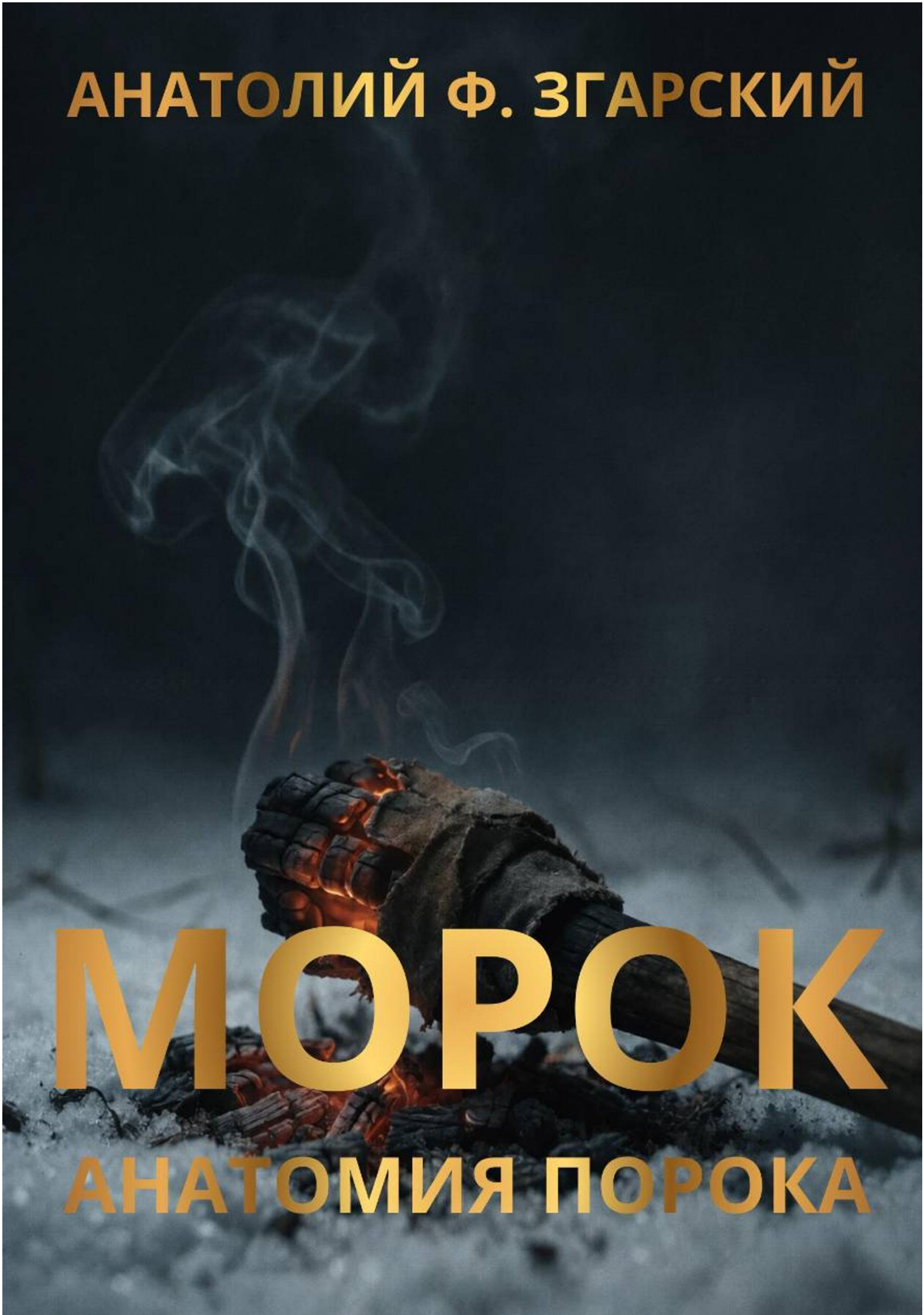
АНАТОЛИЙ Ф. ЗГАРСКИЙ



МОРОК

АНАТОМИЯ ПОРОКА

Анатолий Ф. Згарский

МОРОК

«Автор»
2026

Ф. Згарский А.

МОРОК / А. Ф. Згарский — «Автор», 2026

История о поколении, которое выросло между надеждой и разочарованием.

«Морок» — это социально-психологический триллер о молодом человеке, чья жизнь проходит на фоне современной Украины. Это история о выборе, предательстве, власти, деньгах и цене, которую приходится платить за свои принципы. Главный герой оказывается в мире, где границы между добром и злом размыты, а система безжалостно перемалывает судьбы. Он сталкивается с коррупцией, манипуляциями, жестокостью и собственными демонами. В поисках правды и смысла ему предстоит пройти путь, который изменит его навсегда. Роман основан на реальных событиях и заставляет задуматься о том, как устроено общество, что формирует человека и можно ли остаться собой в мире, где всё имеет свою цену. «Морок» — это не просто книга. Это зеркало, в котором каждый увидит часть себя.

© Ф. Згарский А., 2026
© Автор, 2026

Содержание

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ АВТОРСКИХ ПРАВАХ 5
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ (ДИСКЛЕЙМЕР) 6
ПРЕДИСЛОВИЕ 7
Огонь великих идей всегда оборачивается пеплом 7
Украина 2018–2025 годы. 8
Глава 1. 8
Глава 2. 13
Глава 3. 19
Глава 4. 25
Глава 5. 32
Конец ознакомительного фрагмента. 38

Анатолий Ф. Згарский
МОРОК

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ АВТОРСКИХ ПРАВАХ

УДК 821.161.1-31

ББК 84(2Рос=Рус)6

З-46
Згарский, А. Ф.

МОРОК : социально-психологическая драма / Анатолий Ф. Згарский. — М. : Самиздат, 2026. — (Серия «Анатомия порока»; кн. 2).
© Згарский А. Ф., текст, оформление, 2026

Все права защищены. Полная или частичная перепечатка настоящего издания, любая публикация в сети Интернет, воспроизведение, тиражирование, перевод, механическое или электронное копирование (включая сканирование, аудиозапись или внесение в системы хранения и поиска информации) любых фрагментов текста или элементов художественного оформления без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены и влекут за собой судебную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ (ДИСКЛЕЙМЕР)

Настоящее произведение основано на реальных событиях, однако является художественным. Имена и фамилии персонажей, некоторые обстоятельства, торговые марки и названия изменены автором либо используются в вымышленных (художественных) целях для создания собирательных образов эпохи.

Любое совпадение с реальными локациями, товарными знаками, а также с реальными людьми, живыми или умершими, является абсолютно случайным и не преследует цели задеть чьи-либо честь, достоинство или деловую репутацию.

Мнение автора может не совпадать с позицией третьих лиц. Автор и издательство не несут ответственности за интерпретацию текста читателем.

16+ (в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»).

ПРЕДИСЛОВИЕ

Огонь великих идей всегда оборачивается пеплом

Век излома всегда начинается одинаково — под грохот барабанов и треск факелов, под красивые лозунги о единстве, национальном величии и героях. Но за парадным фасадом любой исторической катастрофы скрывается холодный математический расчет тех, кто эту катастрофу монетизирует.

Эта книга о Мороке, опутавшем целую страну. Перед вами хроника того, как обычный провинциальный мальчишка Богдан, искавший во Львове справедливости и силы, соглашается стать слепым и преданным орудием системы. Это рассказ о цене, которую приходится платить за иллюзию власти и отказ от собственной совести.

Вы увидите, как работает изнанка гибридного века: цинизм, списывающий человеческие судьбы по графе «человеческий ресурс», и шкурный интерес кукловодов, конвертирующих чужую слепую ярость в трастовые фонды Европы и элитные виллы.

Но охотник неизбежно становится добычей, как только система решит, что он отработал свое. Герою предстоит пройти через страшный круг личной катастрофы, где правила игры меняются без предупреждения, а то, что вчера было опорой, сегодня становится смертельной угрозой.

«Морок» — это роман-предупреждение для тех, кто разучился сомневаться и думать самостоятельно. Это социально-психологическая драма о том, что закон возмездия работает с точностью часового механизма. И о том, что, когда фасад великих идей рушится, человек остается один на один с пеплом и вечным судом собственной совести.

Украина 2018–2025 годы.
ЧАСТЬ I. МОРОК

Глава 1.

Ранняя осень на Галичине обладает особым, дурманящим свойством — в ней нет предчувствия тлена, в ней звенит медовая, золотая иллюзия бесконечности. Особенно когда тебе почти восемнадцать лет, за спиной остался душный школьный спортзал с лентой выпускника, а в кармане новеньких брюк лежит студенческий билет Львовской политехники.

В сентябре две тысячи восемнадцатого года Львов встретил меня как желанного гостя на пышном празднике. После нашего хутора — пыльного, зажатого между сосновыми посадками и сахарным заводом, пахнущего силосом и мазутом развалённых МТС, — старинный город казался мне сошедшим со страниц гравюр. Мокрая от утренней росы брусчатка блестела под косыми лучами восходящего солнца. Из приоткрытых кованых дверей полуподвальных кофеен плыл густой запах жареной арабики, растертой корицы и свежей сдобы. Старые желтые трамваи с протяжным металлическим звуком огибали серые громады костелов, вздымая вихри кленовой листвы. Возле собора Святого Юра колокола звонили к литургии.

Я стоял посреди шумного водоворота Привокзальной площади, опустив к ногам сумку из грубой клетчатой ткани и поправляя лямки нового синего рюкзака.

В сумке лежал весь мой немудреный стартовый капитал, собранный родительскими руками. Три отутюженные матерью рубашки, две пары джинсов, шерстяной свитер грубой домашней вязки, чугунная сковородка, завернутая в газету, сало в пергаменте, румяные яблоки и две трехлитровые банки с янтарным липовым медом с отцовской пасеки.

Перед моим отъездом отец долго стоял со мной у покосившейся деревянной калитки. Он не любил громких слов. Высокий, жилистый, с темным от загара лицом и глубокими складками у рта, он молча докуривал третью папиросу без фильтра, глядя куда-то поверх верхушек нашего яблоневого сада — туда, где над холмами поднимался сизый туман.

— Учись на совесть, Богданко, — наконец произнес он, бросив окурок под сапог и крепко, до хруста суставов, сжав мои узкие мальчишеские плечи сильными, пахнущими пчелиным прополисом ладонями. — В нашем роду отродясь инженеров не водилось. Дед землю пахал, я на земле всю жизнь горбачусь. Земля — она верная, она голодным не оставит, но и спины не разогнет. А город дает простор. Инженерия — дело светлое, крепкое, государственное. Людям мосты и станки всегда нужны будут. Держись науки, с дураками не вяжись и не забывай, чьего ты корня.

Мать тогда сунула мне в сумку кусок горячего пирога, завернутый в льняное полотенце, и сказала:

— Береги душу, сынок. Не давай гордыне вертеть собой, — она быстро перекрестила меня и спрятала лицо в угол платка.

В их напутствиях не было ни грамма фальши или высокомерия. В них жила та наивная, святая крестьянская вера в то, что диплом университета и городской асфальт автоматически возводят человека в ранг избранных, спасая от вечной провинциальной безысходности.

Первые недели в общежитии на улице Академика Сахарова пронеслись в угаре сумбурной студенческой вольницы. Девятиэтажная серая панельная коробка гудела, как улей. На общих кухнях круглосуточно шипела жареная картошка, в коридорах кто-то бренчал на гитаре, второкурсники с важным видом пересказывали байки о свирепом нраве профессоров кафедры высшей математики, а мы — первокурсники — ловили каждое слово.

По вечерам мы выходили на улицу шумными стайками. Мы бродили по узким улочкам старого города, разглядывали лепнину львовских камениц, заглядывали сквозь сияющие витрины в полутемные бары на площади Рынок, где за высокими деревянными стойками сидели иностранцы, пили дорогое пиво и слушали уличных скрипачей. Жизнь распахнулась перед нами огромным, залитым неоновыми огнями пространством, где каждый волен выбрать любую дорогу.

Но за этим внешним праздником очень быстро проступила изнанка, о которой отец не предупреждал.

В политехе я почти сразу почувствовал невидимую стену, отделявшую меня от городских ребят. Мои сокурсники — сыновья львовских нотариусов, таможенников, владельцев автосервисов и ресторанов — говорили на легком, небрежном сленге, носили куртки дорогих европейских марок, приезжали на пары на подержанных, но сверкающих полировкой немецких машинах и свободно рассуждали о зимних поездках на лыжные курорты.

На их фоне я со своими отглаженными рубашками, сельскими ботинками и привычкой экономить каждую гривну чувствовал себя неуклюжим, бессловесным приемышем.

Когда они собирались в курилках, смеясь над шутками о новых айфонах, я отступал в сторону, делая вид, что повторяю формулы интегрирования. Внутри меня копилась унизительная обида. Это была тоска восемнадцатилетнего мальчишки, остро ощущавшего собственную ущербность и отсутствие опоры. Мне отчаянно хотелось перестать быть робким провинциалом, на которого смотрели сверху вниз. Хотелось доказать окружающим — а главное, самому себе, — что во мне заложена сила, которую никто не посмеет игнорировать.

Так в октябре две тысячи восемнадцатого года я впервые переступил порог спортивного клуба на улице Зеленой.

О клубе мне рассказал комендант общежития — суровый хромой мужик, заметивший, как я по вечерам отжимаюсь на скрипучих трубах пожарной лестницы.

— Хватит железо попусту гнуть, парень, — бросил он, привалившись к косяку. — Иди на Зеленую, в бывший подвал ДОСААФ. Там наши ребята секцию держат. Руки поставят, дурь из башки выбьют и человеком сделают. Денег с нормальных пацанов не дерут.

Зал на Зеленой разительно отличался от тех полуподвальных качалок, о которых я слышал.

Это было просторное, безукоризненно чистое помещение с побеленными сводчатыми потолками и вытяжкой, работавшей с негромким уверенным гулом. Пол был покрыт качественным настилом, в центре возвышался ринг с белоснежными канатами, у кирпичной стены в ряд висели кожаные мешки разного веса. Пахло хорошей кожевенной смазкой, канифолью, свежевыструганным деревом и потом крепких тел.

На стенах висели черно-белые портреты украинских олимпийских чемпионов, исторические карты времен УНР, стилизованный золотой тризуб на темно-синем шелке и большая дубовая доска, на которой мелом были выведены спортивные нормативы клуба.

Парни у мешков работали молча, шумно выдыхая через сжатые зубы при каждом ударе. Обувь все без исключения оставляли у входа на специальных деревянных стеллажах; нецензурная брань каралась сотней отжиманий на кулаках, а старшие атлеты встречали входящих открытыми рукопожатиями.

У канатов ринга меня встретил старший тренер.

Невысокий, сбитый, с военной выправкой, он носил простую черную футболку, обнажавшую жилистые предплечья с тонкими белыми шрамами. Его лицо, с глубоко посаженными серыми глазами, казалось застывшим, почти бесстрастным. Звали его Тарас, но все в зале, от четырнадцатилетних подростков до взрослых мужчин, называли уважительно и коротко: Хмурый.

— Здорово, парень, — произнес он негромко, окинув меня внимательным взглядом с макушки до стоптанных кроссовок. — Занимался раньше?

— В селе на турниках крутился, дрова колол, мешки таскал, — ответил я, стараясь не опускать глаз и расправить плечи. — Хочу удар поставить. Чтобы постоять за себя мог. Первокурсник я, политех.

Тарас слегка усмехнулся углом рта — без издевки, скорее с понимающим одобрением.

— Дрова — это хорошо. Спина крепкая, рычаги длинные, кость широкая. База природная есть. Но забудь про «постоять за себя». Уличная драка — это удел шпаны и дегенератов. Мы здесь не учим таких, как они. Мы куем людей с железной внутренней дисциплиной. Сила без цели — это грязь под ногами. Если пришел красоваться перед девками — разворачивайся сразу. Если готов терпеть, слушать старших и ломать лень — переодевайся. Назар, забери новенького!

Из угла зала, где отрабатывали удары на лапах, к нам подошел рослый парень.

Широкоплечий, с покатыми борцовскими трапециями, светлыми вихрастыми волосами и обезоруживающей улыбкой во все лицо, он двигался с той удивительной кошачьей грацией, которая выдает прирожденного атлета. Его перебитый нос и рассеченная бровь придавали ему вид бывалого бойца, но в глазах светилось открытое, веселое тепло.

— Назар, — протянул он мне руку, обмотанную синим боксерским бинтом. — Учишься где?

— Машиностроительный, политех, — ответил я, пожав руку.

— О, инженер! Уважаю, — хохотнул он, похлопав меня по лопатке так, что у меня загудело в груди. — Голова на плечах — это главное. А руки мы тебе поставим, не дрейфь. Становись перед зеркалом. Будем учить тебя ходить заново.

Следующие полтора часа превратились в выматывающий труд.

Назар не давал мне спуску. Он терпеливо раз за разом поправлял положение моих локтей, заставлял переносить центр тяжести с пятки на носок, объяснял, как импульс удара рождается в толчке стопы и повороте бедра.

— Не сутулься, Богдан! Подбородок прижми к ключице, локти уже держи. Смотри на меня исподлобья, как волк на добычу. Вот так, молодец! Еще раз прямую левую! Дыши носом, выдыхай со звуком!

К концу тренировки моя футболка была насквозь мокрой, колени дрожали от усталости, а плечи налились тяжестью. Но когда я вышел из душа в просторную деревянную раздевалку, меня накрыла радость, какой я не испытывал за всю свою жизнь. Голова была пуста и ясна. Рядом на лавке сидели взрослые, сильные парни, пили из термоса горячий травяной чай с сушеным шиповником и разговаривали на равных.

— Мед с пасеки привез? — спросил Назар, заметив, как я достал банку, чтобы отблагодарить тренера.

— С отцовской, — смутился я. — Липовый. Свежий, этого лета.

Хмурый подошел, молча взял банку, открутил крышку и глубоко вдохнул аромат. На его строгом лице на секунду проступило мягкое выражение.

— Настоящий. Пахнет солнцем и разнотравьем, — произнес он, кивнув мне. — Спасибо, Богдан. Отец у тебя труженик. Садись, пей чай.

Мы сидели в раздевалке больше часа. И именно в эти вечерние часы, когда тренировочный шум стихал, в клубе начиналась вторая, куда более глубокая работа.

Хмурый сидел во главе стола, положив сильные руки на колени, и спокойным, низким голосом рассуждал о вещах, о которых со мной никогда не говорили в школе.

— Посмотрите, что творится за окнами, хлопцы, — говорил он, обводя нас немигающим взглядом. — Страна тонет в лени, в дешевом импортном пойле, тонет в продажности чиновников. Молодежь приучают мечтать только об одном: как бы урвать кусок пожирнее, набить

брюхо и сбежать в Польшу мыть полы на складах. Человек теряет историческую память. Он забывает, что эта земля полита кровью поколений. Нас пытаются превратить в безвольное, покорное стадо, у которого нет чести.

Парни слушали в абсолютной тишине. Назар сидел рядом, подперев подбородок кулаком; взгляд его был прикован к лицу тренера.

— Сила мужчине дается не для того, чтобы пьяным буянить по кабакам, — продолжал Тарас, чеканя каждое слово. — Сила дается для защиты своего рода, своего народа и своей земли. Мы здесь строим новое братство. Трезвое, чистое, несгибаемое. Которое не продаётся за подачки и умеет держать строй. Если каждый из вас станет кремнем — нация выстоит против любой бури. Мы должны стать примером для остальных. Опорой, о которую разобьется любая гниль.

Для меня, восемнадцатилетнего мальчишки, жаждавшего справедливости и признания, эти речи звучали, как священные гимны.

Я смотрел на подтянутого, немногословного Хмурого, на открытого богатыря Назара и думал: вот то место, где я хочу быть.

Я превратился в завсегдатая зала на Зеленой. Не пропускал ни одной вечерней тренировки. Мои удары стали резкими; сельская выносливость соединилась с правильной техникой, плечи раздались вширь, походка стала упругой и уверенной. Сокурсники в университете больше не смотрели сквозь меня — они уступали дорогу в коридорах, видя мой сосредоточенный, жесткий взгляд.

К концу ноября во Львов пришли первые заморозки. Мороз по вечерам затягивал брусчатку тонкой коркой, крыши домов покрылись белым инеем, а дыхание на улице вырывалось густыми клубами пара.

В четверг, после спаррингов, Хмурый подозвал меня к своему рабочему столу в глубине тренерской.

— Подойди, Богдан. Разговор есть.

На столе перед тренером лежала стопка новеньких черных курток из плотной, непродуваемой мембранной ткани. На левой стороне груди четко выделялся серебряный шеврон с мечом острием вверх, обрамленный дубовыми листьями — эмблема нашего клуба. Рядом лежали черные вязаные шапки и шерстяные перчатки.

— В эту субботу наше движение проводит памятное шествие в центре города, — сказал Хмурый, глядя мне прямо в глаза. Его голос звучал торжественно и мягко. — Собираемся вечером у памятника Ивану Франко, напротив университета. Приедут ребята со всей области — студенты, ветераны, спортсмены. Пройдем маршем с факелами по проспекту Свободы к Оперному театру. Никаких политических дрязг и партийных флагов. Только огонь, память предков и наше единство. Показать городу, что у него есть защитники.

Он взял со стола одну из курток, аккуратно расправил ее и протянул мне:

— Держи. Твой размер. Ты парень рослый, фактурный, дыхалка железная. Встанешь в нашу университетскую коробку. Назар пойдет старшим группы. Пора тебе встать в строй плечом к плечу с братьями.

Куртка пахла новой синтетикой и фабричной пропиткой.

Сердце забилось часто. Меня заметили. Меня признали своим. Я буду идти перед лицом всего древнего Львова!

— Спасибо, Тарас, — выдохнул я, прижимая куртку к груди, словно рыцарский орден. — Я не подведу. Строй держать буду.

— Знаю, что не подведешь. — Хмурый ободряюще пожал мне руку. — В субботу в шесть вечера будь на площади. Начинается твоя настоящая жизнь, Богдан.

Я выходил из подвала на морозную улицу Зеленую, бережно неся свернутую куртку под мышкой.

Под ногами хрустел лед. В окнах львовских камениц горел свет, из пекарен тянуло ванилью, но мне казалось, что я лечу над этой мостовой. Я больше не был робким сельским мальчиком Богданко, сыном пчеловода, затерянным в чужом холодном городе.

Я чувствовал за спиной невидимую железную шеренгу и ждал субботы со слепым, восторженным нетерпением.

Глава 2.

В субботу с самого утра в общежитии я не находил себе места.

Я начистил до зеркального блеска ботинки, поправил темно-серый шерстяной свитер и надел ту самую клубную куртку, которую вручил мне Хмурый. Мембранная ткань сидела идеально, слегка шурша при каждом движении; на груди гордо поблескивал серебряный меч в дубовых листьях. Я крутился перед зеркалом в нашей тесной комнате, расправлял плечи, пробовал сдвинуть брови, как делал Назар на ринге, и ловил отражение рослого, широкоплечего парня с упрямым подбородком и горящими глазами. Мой сосед по комнате, тихий второкурсник-ботаник с радиофака, испуганно косился на меня из-за экрана старенького ноутбука, прижимаясь к стенке: в моем облике больше не осталось ничего от того неуклюжего первокурсника.

Над черепичными крышами Львова клубилась низкая хмарь. Туман, выползавший из сырых низин Полтвы, медленно затапливал улицы, цепляясь за готические шпили костела святой Эльжбеты, оседая на медных куполах и превращая мостовые в зеркальную скользкую корку. Город казался застывшим: прохожие спешили укрыться в кофейнях, откуда пахло жареными зернами и горячим шоколадом, а редкие машины осторожно крались по мокрой брусчатке, разрезая туман желтыми пятнами противотуманных фар.

В половине пятого я вышел на улицу.

Воздух обжег легкие морозной свежестью. Я шел пешком через парк Костюшко — старинный массив, раскинувшийся прямо напротив главного корпуса Львовского национального университета имени Ивана Франко. В сумерках голые, тронутые инеем кроны вековых дубов и ясеней казались гигантскими коваными решетками, подпирающими низкое небо. Под подошвами хрустел мерзлый гравий. И чем ближе я подходил к университетской площади, тем отчетливее слышал низкий рокот, напоминавший шум набегающей на берег волны.

Площадь перед величественным монументом Франко была уже наполовину заполнена людьми.

Они стекались со всех прилегающих улиц — со стороны Словацкого, Крушельницкой, Университетской. Это не было похоже на обычные студенческие сходки или политические митинги, где люди топчутся кучками, курят и бестолково гомонят. Здесь царила поразительная дисциплина. Сотни молодых людей — от шестнадцатилетних подростков из спортивных секций до двадцатипятилетних ветеранов первых боев на Донбассе — двигались плотными группами по двадцать-тридцать человек, во главе каждой из которых шел старший со списком и короткой рацией на разгрузке.

Все были одеты строго и однообразно: черные или темно-оливковые куртки, военные брюки-карго, высокие армейские берцы. Никаких разноцветных шарфов или кричащих надписей. Лица многих были наполовину скрыты черными флисовыми баффами, натянутыми до самых переносиц, отчего видны были только глаза.

По краям площади стояли длинные деревянные ящики из-под армейского снаряжения. Возле них дежурили двое парней в брезентовых рукавицах: они доставали из ящиков деревянные факелы метровой длины, верхние концы которых были туго обмотаны грубой мешковиной, прошиты стальной проволокой и намертво пропитаны едкой, пахнущей авиационным керосином и парафином маслянистой смесью.

— Богдан! Сюда! — раздался над площадью знакомый густой бас.

Сквозь ряды собирающихся парней ко мне шагал Назар. В этот вечер он выглядел настоящим вожаком: темно-зеленая полевая парка нараспашку, под ней черная кофта с шевроном сотника, на руках тактические перчатки с кевларовыми вставками на костяшках. Лицо его с

перебитым носом, будто высеченное из гранита. Щеки горели от мороза, а глаза искрились шальным, мальчишеским азартом бойца, выходящего на решающий бой.

Он с размаху опустил массивную ладонь мне на плечо, слегка встряхнув, будто проверяя крепость стального шарнира:

— Ну каков орел! Форма как влитая сидит. Не дрожишь?

— Холодно просто, — соврал я, хотя пальцы в перчатках действительно слегка подрагивали от адреналина. — Народу сколько… Тут тысячи полторы уже, Назар?

— Больше, брат, — улыбнулся он, обнажив белые крепкие зубы. — Две с половиной тысячи только по спискам наших ячеек прошло. Дрогобыч приехал, Стрый, Самбор, Тернополь два автобуса пригнал, плюс политех и ветеринарка в полном составе. Сегодня весь Львов увидит, чья это земля на самом деле. Хватит по подвалам сидеть. Выходим на свет.

Он потянул меня за рукав к подножию монумента Франко. Там, на ступенях из розового полированного гранита, находился командный пункт шествия.

Во главе стоял Тарас — Хмурый. В темно-сером офицерском бушлате без знаков различия, без шапки, с заложенными за спину руками, он походил на оживший памятник воле. Рядом с ним стояли трое мужчин постарше — координаторы из Киева, которых я мельком видел в тренерской на Зеленой.

Особенно выделялся один из них — невысокий, сухой мужчина лет сорока пяти в дорогой норвежской штормовке графитового цвета, с тонким породистым лицом, аккуратной профессорской бородкой и круглыми очками в титановой оправе. Его звали Олег Ярославович. От него исходил едва уловимый аромат миндального мыла, элитного табака и той уверенности, которая рождается лишь в тишине кабинетов и министерских приемных, где распоряжаются человеческими судьбами.

Олег Ярославович держал в руках раскрытую кожаную папку с планом маршрута, негромко и методично отдавая указания сотникам:

— Маршрут согласован с городским управлением полиции. Патрульные экипажи перекроют движение по Университетской, Словацкого и проспекту Свободы за пять минут до выхода головы колонны. Провокаций со стороны леваков или прессы не бояться — пресса предупреждена, снимут только с правильных ракурсов с высоты Ратуши. Основная задача — геометрия. Никакого разброда, никакой толпы. Город должен увидеть армию. Монолит. Черную шеренгу, о которую разбивается взгляд обывателя. Если кто-то из малолеток начнет бить витрины или орать отсебятину — старшим вязать на месте. Нам нужен порядок, а не базар. Понятно?

— Так точно, — коротко кивнул Хмурый.

Затем его серые глаза скользнули по толпе и остановились на мне. Он сделал едва заметный жест головой:

— Богдан, иди сюда.

Я подошел, стараясь чеканить шаг. Сердце колотилось так громко, что мне казалось — его слышно сквозь ткань куртки.

Хмурый положил руку мне на плечо и повернул к столичному куратору:

— Вот, Олег Ярославович. О ком я вам говорил. Свежая кровь. Первый курс, машиностроительный факультет политеха. Деревенский парень, отец — пасечник. Руки железные, характер кремневый, ни одной тренировки не пропустил.

Олег Ярославович медленно повернул голову. Сквозь чистейшие стекла очков на меня взглянули умные, проницательные глаза исследователя, изучающего редкий биологический образец под микроскопом.

— Прекрасно, — мягким, глубоким баритоном произнес он, слегка улыбнувшись одними уголками тонких губ. — Крестьянская основа всегда была становым хребтом нации. Городской

элемент быстро вырождается, он слаб, он развращен комфортом и космополитизмом. А земля дает кость и верность. Как учеба, молодой человек?

— Отлично, — вытянулся я.

— Ум и кулаки. Редкое и ценное сочетание, — куратор слегка кивнул Хмурому. — Ставьте его на фланг коробки. Такие лица должны быть в авангарде. Люди должны видеть силу, у которой есть разум.

Одобрение этого интеллигентного столичного человека, говорившего на безукоризненном литературном языке, ударило мне в голову сильнее любого вина.

Все мои сельские комплексы, вся обида на высокомерных львовских мажоров в политехе растаяли без следа. Меня лично заметило руководство движения! Я был отобран. Я был признан материалом для великого строительства.

— Назар, выдай снаряжение, — скомандовал Хмурый.

Назар подвел меня к штабелю ящиков и лично выбрал пахнущий керосином факел с толстой рукоятью из сухого ясеня.

— Держи обеими руками, Богдан. Неси перед собой под углом сорок пять градусов. На меня равняйся, строй не ломай.

— Внимание, сотни! — прорезал морозный воздух голос Хмурого, усиленный мощным рупором. — Построение по пять! Коробки сомкнуть! Интервал — полметра!

Площадь пришла в движение мгновенно.

Как гигантская невидимая гребенка прошлась по серой массе, превращая хаос в идеальную геометрию. В считанные минуты две с половиной тысячи человек разбились на ровные каре — по сто человек в каждой коробке, двадцать шеренг по пять бойцов. Меня поставили на правый край первой шеренги второй коробки; справа от меня в полушаге шел Назар со знаменем сотни на высоком древке — черно-красное полотно с вышитым золотом острием меча лениво колыхалось на сыром ветру.

— Приготовиться к зажжению огней! — раздалась команда со ступеней.

Щелкнули сотни кремней. Зашипели баллончики зажигалок.

Первый огонь вспыхнул на граните постамента, у ног Франко. Оттуда пламя побежало по рядам живой цепочкой, с сухим, шуршащим треском передаваясь от факела к факелу. Когда парень из первой коробки поднес горящий фитиль к моей просмоленной мешковине, жар резко, с хлопком обдал мне лицо.

Факел занялся, выстреливая в сырой туман миллионами крошечных золотых искр. В нос ударил резкий, одуряющий запах горящего керосина.

В ту же секунду вся площадь перед университетом полыхнула единым костром.

Сотни пылающих факелов разом разорвали серые львовские сумерки. Тени от гранитных фигур монумента взметнулись ввысь, заплясали по фасаду старинного австрийского здания Галицкого сейма гигантскими силуэтами. Воздух мгновенно потеплел, наполнился гулом пламени и потрескиванием смолы. Лица парней вокруг меня преобразились до неузнаваемости.

В колеблющихся багровых отсветах огня стерлись индивидуальные черты: исчезли прыщи первокурсников, следы усталости, неловкие улыбки. Перед глазами стояли шеренги масок, устремленных строго вперед. Мы перестали быть отдельными людьми — студентами, рабочими, безработными, сыновьями своих матерей. Мы сплавились в единое многоголовое, многорукое чудовище, у которого была одна воля, одно дыхание и один пульс.

Барабанщиков я увидел только когда они обошли постамент и встали перед первой коробкой.

Их было восемь, все в черных куртках и низко надвинутых баффах, с полевыми барабанами на боку, подвешенными на широких брезентовых ремнях через плечо. Краска на ободах облупилась, кожа была натянута до тусклого блеска. Передний парень, стриженный под

машинку, держал палочки в опущенной руке, как ложки, и смотрел на ступени, где стоял Хмурый.

Хмурый коротко кивнул.

Первый удар упал в холодный воздух, как топор в поленницу. За ним второй, третий, и вот уже восемь барабанов забили дробь: ровную, частую, с тяжелым ударом на каждом четвертом такте. Звук шел, будто из-под брусчатки, поднимался через подошвы, отдавался в коленях и в груди. Я поймал себя на том, что уже притопываю в такт, вместе с парнями по обе стороны от меня.

Олег Ярославович мельком взглянул на барабанщиков из-за плеча Хмурого и снова уткнулся в папку.

Дробь подхватили у ящиков, в хвосте колонны кто-то не выдержал и врезал по коже ладонью. Хмурый поднял руку.

— Ритм держать! — крикнул он в рупор. — Барабан — это шаг. Кто сбился, тот выпал из строя.

Самодеятельность оборвалась. Восемь пар палочек пошли ровно, вся площадь разом подобралась: две с половиной тысячи человек вытянулись и поймали ногу еще до команды.

— Колонна! — рявкнул мегафон в голове строя. — Шагом… МАРШ!

Тысячи пар армейских ботинок одновременно ударили по мерзлой брусчатке Университетской улицы.

БАХ! БАХ! БАХ!

Звук этого шага отдавался эхом от каменных стен старинных домов — он вибрировал в воздухе, отзываясь физической дрожью в диафрагме, в ребрах, в самом основании черепа. Земля под нашими ногами действительно дрожала.

Мы вышли на проезжую часть. Патрульные машины с синими проблесковыми маячками стояли поперек перекрестков, услужливо отрезая любой посторонний транспорт. Полицейские в светоотражающих жилетах замерли навытяжку у капотов, глядя на нашу огненную реку с застывшими, бесстрастными лицами людей, получивших приказ не вмешиваться ни при каких обстоятельствах.

— Слава нации! — выкрикнул сотник в голове колонны через мощный усилитель.

— СМЕРТЬ ВОРОГАМ! — ответил строй.

Этот рев вырвался и из моего горла с такой мощью, что я сам не узнал собственного голоса. Звук родился где-то в глубине живота, прошел сквозь грудную клетку и сорвался с губ раскатистым громом. Я орал изо всех сил, чувствуя, как морозный воздух дерет связки, как капли горячей смолы с факела падают на рукав куртки, и с каждым новым выкриком во мне окончательно умирал прежний робкий Богданко.

Сгорала память о скрипучем родительском заборе, об отцовских заскорузлых руках, искусанных пчелами, о материнских слезах у калитки. Кем я был для этого города еще вчера? Нищим приемышем, который считал копейки на проезд в трамвае. А сейчас я был частью огненного потока. Я шагал в первой шеренге силы, которая диктовала свою волю этому дряхлому, испуганному миру!

Колонна плавно перетекла на проспект Свободы — центральную артерию Львова.

Здесь туман рассеивался под напором жара тысяч факелов, оставляя в воздухе сизый удушливый шлейф. По обе стороны проспекта застыли сотни обывателей. Движение замерло: на тротуарах у витрин сияющих бутиков, возле входов в модные кофейни и у стеклянных дверей отеля «Жорж» стояли люди, застигнутые нашим маршем врасплох.

Я смотрел на них сквозь багровые сполохи огня, сжимая шершавую рукоять факела так, что немели пальцы.

Я видел их лица. Молодая пара в дорогих пальто вжалась в гранитную арку подъезда; парень торопливо прятал в карман телефон, которым пытался снять начало шествия, а девушка

испуганно куталась в шарф, не отрывая широко распахнутых глаз от наших масок. Пожилой седой мужчина в интеллигентской шляпе стоял у газетного киоска, опираясь на трость, и в его взгляде читалась скорбь человека, уже видевшего подобный огонь много десятилетий назад на этих же улицах. Женщина у кондитерской судорожно прижимала к себе маленькую девочку, закрывая ребенку глаза ладонью от чада и пламени. Водители десятков застрявших на боковых улицах иномарок заглушили моторы и сидели в полумраке салонов абсолютно неподвижно.

В этих сотнях взглядов был оцепенелый страх.

И этот страх чужих, благополучных людей отозвался сладким ядом гордыни. Я шел в такт шагам Назара, высоко держа пылающий ясеневый факел, от которого отлетали снопы золотых искр, и внутри меня всё ликовало:

«Смотрите на нас! — кричал мой внутренний голос в лицо этим испуганным обывателям на тротуарах. — Вы считали нас серой массой. Вы брезговали нашим сельским говором. Вы думали, что ваша уютная жизнь с круассанами и кофе будет длиться вечно. Но пришло наше время. Мы — новое железо этой земли. Мы сожжем всю вашу гниль, и вы будете склонять головы каждый раз, когда мы проходим мимо!»

Колонна вышла на площадь перед Львовским театром оперы и балета имени Соломии Крушельницкой.

На каменных плитах возле выключенного на зиму фонтана коробки по короткой команде перестроились в гигантское каре, замкнув кольцо огня вокруг гранитной трибуны. Жар тысяч факелов был настолько силен, что лед на плитах моментально растаял. Густой белый дым пеленой укутал барочный фасад театра, скрывая каменных муз и квадригу на фронтоне.

На возвышение перед строем поднялся оратор — молодой столичный гость с жестким лицом бойца и безупречной дикцией телевизионного ведущего. Он взял микрофон. Его голос, усиленный мощными концертными колонками, установленными на крышах микроавтобусов сопровождения, ударил по площади:

— Соратники! Братья! — чеканил он, и слова его разносились далеко по ночному городу, отражаясь от стен старых кварталов. — Сегодня они говорят нам о толерантности! Они говорят нам о правах человека, о покорности законам, которые написаны ворами для защиты наворованного! Они хотят усыпить нашу волю дешевыми подачками и сделать из нашей святой земли сырьевой придаток чужих корпораций! Но мы пришли напомнить им: хозяева этой земли — не чиновники в кабинетах! Хозяева этой земли — МЫ! Те, кто держит в руках огонь! Либо нация выкует свой порядок железом и кровью, либо нас сотрут из истории! Украина — превыше всего!

— ПРЕВЫШЕ ВСЕГО! — взревела площадь единым порывом.

— Смерть ворогам! — гремел оратор.

— СМЕРТЬ! СМЕРТЬ! СМЕРТЬ! — отозвались тысячи глоток.

Рядом со мной Назар исступленно бил кулаком в грудь, запрокинув голову к черному небу. Лицо его было черным от копоти, пот ручьями стекал по вискам, а глаза полыхали безумным экстазом сектанта, узревшего явление своего бога. Я оглянулся на край трибуны: там, в полутени театральных колонн, стояли Хмурый и Олег Ярославович. Они не кричали.

Куратор в очках спокойно курил дорогую тонкую сигарету, держа ее в холеных пальцах, и с легкой усмешкой наблюдал за бушующей внизу людской массой. Для него эта площадь, эти горящие глаза, эти сорванные связки тысяч мальчишек были лишь топливом. Высокооктановым горючим для машины, рычаги которой он держал в руках. Но тогда, в восемнадцать лет, я не видел этой усмешки. Я видел только пламя.

Когда митинг закончился, прозвучала команда тушить огни.

Вдоль рядов пронесли железные чаны с водой. Мы по очереди опускали факелы в черную воду: они шипели, плевались горячим паром, выбрасывая в воздух клубы удушливого

белого чада. За несколько минут площадь погрузилась в промозглую, липкую темноту, пахнущую гарью и мокрой золой.

Оцепление сняли. Колонны начали расходиться по ночному городу малыми группами.

Мы с Назаром возвращались в общежитие пешком через спящий парк.

Мы шли молча. В ушах все еще стоял бой барабанов и эхо тысячи голосов; руки пахли керосином и копотью, на пальцах чернела сажа. Внутри меня всё пело и дрожало от той странной, хищной энергии, которая не дает уснуть.

Я вошел в темную комнату общежития, тихо прикрыл дверь и щелкнул выключателем в прихожей.

В прямоугольнике зеркала над раковиной отразился незнакомец.

Я подошел ближе и долго вглядывался в собственные черты. На скуле чернела полоса копоти. Губы были запекшимися, сухими. Но главное — изменился взгляд. Из глубины зрачков на меня больше не смотрел робкий мальчик Богданко, сын пасечника, которого отец учил держаться науки и земли.

В зеркале был молодой волк. Он еще не убивал, он еще не рвал чужую плоть зубами, но он уже в стае. Он уже почувствовал сладость чужого страха и силу сомкнутого строя.

На следующий день мы с Назаром в тату-салоне набили клубную эмблему — меч в дубовых листьях. Чернила навсегда въелись в кожу, закрепляя мой договор с этой новой, опьяняющей силой.

Глава 3.

Зима пронеслась сквозь меня единым смазанным экспрессом: чертежные доски в душных аудиториях политеха, зачеты по высшей математике, сданные на автопилоте, и липкий, въедливый запах пота в вечернем зале на Зеленой. Но чем выше поднималось весеннее солнце над львовскими крышами, тем отчетливее в клубе ощущалось ожидание главного события года.

Слово «вышкол» в устах Хмурого и сотников звучало сухо, без тени студенческой романтики майских пикников с гитарами и дешевым портвейном. Наставники внушали нам: город размягчает, город прививает иллюзию комфорта, город делает мужчину ленивым потребителем. Настоящий стержень проверяется лишь там, где нет кафе, горячей воды, маминых передач и закона, кроме приказа старшего.

В последнюю пятницу мая две тысячи девятнадцатого года, в четыре утра, когда над спящим Львовом только-только занималась розовая полоса зари, мы стояли на пустыре за конечной остановкой трамвая на улице Стрыйской.

Нас было двадцать два человека — ударное ядро ячейки, отобранные за полгода тренировок парни из политеха, ветеринарной академии и крепкие ребята, приехавшие ночным поездом из Ивано-Франковска. Все — в камуфляже «дубок» и «бундесвер» без шевронов и нашивок, в армейских берцах. У каждого за спиной болтался брезентовый армейский вещмешок: смена белья, алюминиевый котелок с ложкой, рулон туалетной бумаги, брусок хозяйственного мыла, пара сухих пайков и индивидуальный перевязочный пакет.

У обочины стояли два старых микроавтобуса «Mercedes Sprinter» с зашторенными окнами и заляпанными подсохшей грязью номерами. Возле головной машины ждал Хмурый в полевой форме и тактической кепке, сжимая в руках картонную коробку из-под армейской обуви.

— Построиться в две шеренги! — негромко, но с такой сталью в голосе скомандовал он, что все разговоры мгновенно оборвались.

Мы выстроились по стойке смирно, щелкнув каблуками по битому асфальту.

— Телефоны, смарт-часы, любые средства связи и навигации достать из карманов и сложить сюда, — Тарас выставил коробку перед первой шеренгой. — На трое суток внешний мир для вас прекращает свое существование. Никаких звонков матерям, никаких сообщений подругам, никаких фотографий для соцсетей. Для тех, кто остался в городе, вас не существует. А для нас там, куда мы едем, нет никаких «гражданских прав» и конституций. Есть устав лагеря и воля командира. Кто колеблется или вспомнил про неотложные свидания — шаг из строя прямо сейчас. Поедете в общагу на первом трамвае.

Ни один человек не вышел из строя. Я без малейшей тени сомнения достал свой потертый смартфон, перевел в авиарежим и швырнул в коробку поверх десятка таких же пластиковых корпусов.

В этом добровольном отказе от связи с миром была странная сладость: я перерубал невидимую пуповину, связывавшую меня с хутором, с отцовскими наставлениями беречь копейку и материнскими тревогами. Я вступал в замкнутый, суровый мир избранных, где не было полутонов.

— По машинам, — махнул рукой Хмурый.

Мы забились в тесный, душный салон. Машины тронулись, и вскоре городской шум сменился монотонным шорохом асфальта. Окна были закрыты плотными шторами, свет в салоне не включали. Мы ехали в темноте больше трех часов: сначала ровно по трассе, затем микроавтобус начало бросать из стороны в сторону, под колёсами зашумел гравий, ветви деревьев

с сухим треском заскребли по металлической крыше, и машина перешла на низкую передачу, преодолевая крутые подъемы предгорий Сколевских Бескидов.

Когда двери наконец с лязгом откатились, в салон хлынул поток холодного, кристально чистого воздуха, густо замешанного на запахе буковой листвы, мха, дикой черемши и смолистом аромате карпатской пихты.

Лагерь располагался на дне лесной чаши, зажатой между крутыми, поросшими буками склонами урочища. В центре поляны выстроились три большие брезентовые палатки советского образца, поставленные с заглублением на полметра в грунт для защиты от сквозняков; рядом дымила полевая кухня-прицеп на колесном ходу. Чуть поодаль были вырыты аккуратные туалеты, огороженные маскировочной сеткой, а в глубине урочища, у крутого обрыва, виднелись свежие деревянные щиты для мишеней и полоса препятствий: врытые в землю бревна, рукоходы из сосновых стволов, тракторные покрышки и низко натянутые над землей мотки колючей проволоки.

— Вещмешки сложить в крайнюю палатку! — прозвучала команда дежурного сотника. — Форма одежды номер четыре: китель застегнут, ремни затянуты, кепки на голове. На все — девяносто секунд. Время пошло!

Начались трое суток, в которых время перестало измеряться часами и минутами. Оно превратилось в бесконечную цепочку физических преодолений, выламывающих тело до основания.

Нас не жалели ни секунды. Подъем в пять утра объявлялся оглушительным свистком и пинком по брезентовому скату палатки. Мы должны были выскочить на промозглый предрассветный холод, зашнуровать берцы и встать в строй. Опоздал один — весь взвод падал на кулаки и отжимался пятьдесят раз, пока мышцы груди не начинали гореть.

Утренний кросс по горным тропам был настоящей пыткой. Мы бежали вверх по раскисшей от весенних дождей глине, скользя, цепляясь руками за узловатые корни вековых буков. Воздух со свистом врывался в легкие, во рту стоял металлический привкус крови, виски ломило от бешеного давления.

— Не спать, пехота! — орал Назар, бежавший замыкающим группы. В горах его сильное тело работало, как мощный дизельный двигатель. — Ноги выше! Дыши глубже, Богдан! Слабые остаются в овраге гнить! Кто упадет — того на носилках понесем, а потом в ручье искупаем!

После кросса — пять минут на умывание в бурунах горного ручья, от которого сводило зубы и немело лицо, и сухой, полувоенный завтрак: жестяная миска вязкой перловой каши с куском вареного сала и кружка горького травяного чая без сахара. Ели стоя, за пять минут, глядя на секундомер инструктора.

Затем начиналась тактическая подготовка.

Инструкторы — ветераны батальонов первой волны четырнадцатого года с огрубевшими лицами и выцветшими глазами — учили нас основам, которые в мирной жизни казались абстракцией из военных учебников. Мы часами отрабатывали действия в «двойках» и «тройках»: перекаты, прикрытие огнем, смену позиции перебежками от дерева к дереву. Ползали по-пластунски под низко натянутой колючей проволокой, вжимаясь носом в мокрый прошлогодний опад, пока над головами с сухим свистом хлестали резиновые жгуты, а под боком взрывались учебные шумовые пакеты, обдавая комьями земли и едким серным дымом.

Мы учились вязать узлы для переправ через ущелья, накладывать жгуты-турникеты на время — за пятнадцать секунд одной рукой, пока инструктор орал в ухо, изображая у раненого шок и артериальное кровотечение. Учились ножевому бою на деревянных макетах: короткие, подлые, смертоносные удары снизу в печень, под подбородок, под ключицу с разворотом лезвия в ране.

К исходу второго дня я весь был одной ноющей гематомой. Локти и колени были ободраны, на плечах от лямок снаряжения вздулись водянистые мозоли, поясницу ломило так,

будто по ней били дубовым поленом. Но когда вечером я смотрел на свои руки — сбитые, с въевшейся под ногтями землей, — я чувствовал, как внутри меня формируется монолитная, не знающая сомнений сталь.

Однако физическая ломка была лишь фундаментом. Настоящая переплавка сознания происходила тогда, когда над урочищем сгущались черные, как деготь, карпатские сумерки.

После вечерней поверки тренировки прекращались. Инструкторы разводили в центре поляны гигантский костер из смолистых буковых бревен. Оранжевые языки пламени взлетали на три метра ввысь, трещали раскаленные угли.

Именно в эти ночные часы начиналась идеологическая ковка.

В субботу в лагерь на черном внедорожнике «Toyota Land Cruiser» с киевскими номерами приехали кураторы. Машина бесшумно выкатилась из лесной тьмы, встав на краю поляны.

Из внедорожника вышел Олег Ярославович — тот самый столичный интеллигент в круглых очках, которого я запомнил по факельному маршу во Львове. На нем была дорогая штормовка из мембраны цвета темного антрацита, чистые тактические ботинки и шерстяная шапочка. С ним был второй человек — сбитый мужчина лет тридцати восьми с военной стрижкой и холодным взглядом профессионального силовика, которого Хмурый представил нам просто: Майор.

Олег Ярославович подошел к костру. Он не стал садиться на землю, как мы, — ему услужливо подкатили гладко обтесанную буковую колоду. Он сел, оправил складки куртки, достал из кармана тонкую металлическую флягу, сделал маленький глоток и обвел наше полукольцо спокойным, гипнотизирующим взглядом университетского лектора, пришедшего на спецсеминар для избранных студентов.

— Добрый вечер, господа соратники, — произнес он мягким, глубоким баритоном, в котором слышалась безупречная столичная дикция. — Я смотрю на ваши лица. На ваши мозоли, на грязь под ногтями, на ваши плечи. Вы устали. Ваше тело протестует. Ваш гражданский разум, воспитанный на либеральных мифах, шепчет вам: «Зачем это? Ради чего я терплю этот холод и боль, когда сверстники пьют пиво на площади Рынок или смотрят сериалы в тепле?»

Он замолчал, давая словам повиснуть в ночном воздухе. Было слышно лишь, как трещит смола в костре да где-то в верховьях урочища ухает ночная птица.

— Я отвечу вам, — продолжил куратор, наклонившись вперед и уперев локти в колени. — Вы здесь потому, что вы — единственное живое препятствие на пути окончательного вырождения этой земли. Взгляните на историю без розовых очков школьных учебников. Что такое человечество? Это пирамида. И в основании этой пирамиды всегда лежала, лежит и будет лежать серая, бессловесная биомасса.

Это слово — «биомасса» — он произнес с легкой брезгливостью, словно говорил о колонии бактерий на стекле лабораторного бокса.

— Кто такой рядовой обыватель? — Олег Ярославович обвел нас взглядом. — Это примитивный биологический механизм. Желудок на двух ногах. Его мир ограничен корытом: купить подешевле колбасу, урвать бэушную иномарку на польских бляхах, построить забор повыше соседа и дожить до пенсии, не привлекая внимания. У него нет исторического чувства. У него нет чести. Ему плевать, какой флаг будет висеть над его городским советом, лишь бы в супермаркете не дорожали продукты. Этот элемент не способен к жертве, не способен к созиданию. Он пассивен, труслив и эгоистичен.

Я слушал его, и перед моими глазами сам собой вставал наш хутор. Соседи, вечно спорившие из-за межи в огороде. Мужики у пивного ларька возле автостанции, ругавшие власть за цены на сахар. Отец, согнутый над ульями, экономящий каждую копейку. В словах куратора была страшная, завораживающая логика. Она безжалостно сдирала с привычного мира всю сентиментальность, превращая реальность в холодную биологическую схему.

— И вот этой серой, аморфной массе современная цивилизация внушает сказку о демократии, — продолжал куратор, и в его голосе зазвучал металлический сарказм. — Будто голос спившегося люмпена или продажного барыги равен голосу воина и творца! Это ложь, придуманная слабаками для обуздания сильных. Природа не знает равенства. В природе есть волчья стая и есть овечье стадо. Волки берут то, что принадлежит им по праву клыка. Овцы рождены лишь для того, чтобы давать шерсть и мясо.

— Но закон?.. — не удержался и подал робкий голос худощавый парень из Ивано-Франковска, сидевший на лапнике в третьем ряду.

Олег Ярославович медленно повернул голову в его сторону. Он улыбнулся снисходительно.

— Закон, юноша? — переспросил он мягко. — Закон — это всего лишь зафиксированная на бумаге воля победителя. Кто победил — тот и пишет уголовный кодекс. Кто проиграл — тот объявляется преступником. Вся история человечества двигалась вперед исключительно железной волей организованного меньшинства. Горстки фанатиков, спаянных дисциплиной, идеей и готовностью переступить через так называемые «общечеловеческие ценности».

В разговор вступил Майор. Его голос, хриплый и резкий, контрастировал с мягкой речью куратора:

— Посмотрите на государство, в котором мы живем. Оно гнилое. Вся властная вертикаль — от патрульного полицейского до министра — погрязла во взятках и распилах. Они распродают страну оптом и в розницу. Институты держатся на честном слове. Когда грянет настоящая буря — а она грянет неизбежно, вопрос пары лет, — эта система сложится за сорок восемь часов. Менты разбегутся по домам, чиновники рванут с чемоданами в Борисполь. И в этот момент в стране останется только одна реальная сила: МЫ.

Он резко ткнул указательным пальцем в сторону строя:

— Тот, кто держит улицу, держит власть. Наша задача сегодня — не просто бегать по лесам. Мы создаем скелет новой элиты. Параллельную структуру власти. Пока они делят кабинеты, мы учимся стрелять, управлять толпой, ломать чужую волю и подчинять себе городское пространство. Вы — будущие коменданты этих городов. Но для этого вы должны вытравить из себя жалость. Жалость к слабому — это государственная измена будущему нации.

Слова вбивались в наши перегруженные тренировками, воспаленные головы, как раскаленные гвозди в сухое дерево.

Мир становился простым и понятным. Исчезала мучительная необходимость сомневаться, выбирать, отвечать за свой выбор. Все делилось на два четких лагеря: «Мы» — избранный авангард, волки, призванные железной рукой навести порядок на этой земле, и «Они» — бессмысленная, пассивная масса, которой суждено либо подчиняться нам, либо быть на свалке истории.

Около полуночи лекция закончилась. Кураторы ушли в командирскую палатку, а мы разошлись по своим нарам.

В палатке стоял тяжелый запах сохнущих у буржуйки суконных портянок и хвои. Назар лежал, заложив мускулистые руки за голову и глядя в темный брезентовый свод.

— Слышал, как стелет профессор? — шепотом бросил он мне, повернув голову. Его глаза лихорадочно блестели в отсветах тлеющей печки. — У Олега Ярославовича в Киеве выходы на самый верх. Хмурый говорил, за ними стоят серьезные олигархи и фонды из диаспоры. Бабки там немереные. Мы тут не просто по кустам ползаем, Богданко. Нас реально в обойму берут. Представь: через пару лет мы не просто инженеры копеечные будем. Мы во Львове любой вопрос сможем ногой открывать. Вся эта городская шваль перед нами на цырлах ходить будет.

Я молча лежал, укрывшись бушлатом, и слушал, как мерно шумит за брезентом столетний карпатский лес.

Внутри меня шевелилось странное, двойственное чувство. Где-то на самом дне души, в потемках детской памяти, всплывал образ отца. Я вспомнил его тихий голос, его натруженные руки, пахнущие прополисом, его крестьянскую заповедь: «Не обижай слабого, сынок. Земля гордыни не прощает — кто нос задирает, того она первого в прах уложит». Но этот тихий голос казался теперь далеким, немощным писком из прошлой, убогой жизни.

Мне было жалко отца за его слепоту, жалко мать за ее вечный крестьянский страх. Я считал, что вышел из этой серой массы. Я — хищник. Я — строитель нового порядка.

На третий день наступила кульминация вышкола.

В воскресенье в девять утра нас вывели к карьеру в глубине урочища. Там, на врытых в грунт деревянных столах, лежало оружие.

В ряд на столах лежали гладкоствольные помповые дробовики «Маверик», охотничьи карабины — гражданские копии автомата Калашникова калибра 7,62, а также пара армейских пистолетов ПМ. Возле оружия высились цинки с боеприпасами: патроны блестели желтой латунью в лучах утреннего солнца.

Хмурый лично проводил инструктаж:

— Оружие — это продолжение вашей воли. Но оружие не прощает расхлябанности. Палец на спусковой крючок ложится только тогда, когда мушка наведена на цель. Стрельба ведется короткими сериями. Задача — поразить ростовую мишень с расстояния пятьдесят и сто метров.

Подошла моя очередь. Хмурый вручил мне пахнущий оружейным маслом карабин.

Вороненая сталь приятно холодила ладонь. Я вогнал снаряженный магазин до щелчка, передернул затворную раму — сухой, лязгающий металлический звук отозвался сладким спазмом внизу живота.

— Огонь по готовности! — скомандовал инструктор за моей спиной.

Я вскинул карабин к правому плечу, поймал в прорезь целика черную силуэтную фигуру на фоне откоса, задержал дыхание на полувыдохе и плавно потянул спуск.

ГРОХОТ!

Выстрел разорвал тишину карпатского урочища, эхом прокатившись по кронам буков. Отдача толкнула приклад в плечо, пахнуло горьким пороховым чадом. В ста метрах впереди, прямо в середине фанерной груди мишени, образовалась рваная дыра.

Я выстрелил еще раз. И еще. Вся серия легла кучно, разорвав фанерный силуэт.

Когда я опустил оружие, мои руки мелко дрожали, но в груди полыхал триумф.

Я казался себе божеством, повелевающим громом и металлом. Оружие стирает любые аргументы, любые законы морали, превращая того, кто напротив, в мишень, чье существование зависит исключительно от движения указательного пальца.

Хмурый подошел сзади, окинул взглядом пробитую мишень и скупо хлопнул меня по плечу:

— Стрелок из тебя выйдет отличный, Богдан. Запомни это ощущение. Скоро оно тебе пригодится не на фанере.

В воскресенье вечером, свернув лагерь и замаскировав кострища дерном, мы загрузились в микроавтобусы и двинулись обратно.

Когда машины выехали на освещенную неоном трассу перед въездом во Львов, город встретил нас привычным буржуазным шумом: сияли витрины торгово-развлекательных центров, по проспектам не спеша катили чистые легковые автомобили, на остановках стояли нарядные воскресные пары, смеялись девушки с бумажными стаканчиками кофе в руках.

Я отодвинул штору и прильнул к заляпанному грязью стеклу.

Они казались мне жалкими, беззащитными мошками, кружащими вокруг фонаря в преддверии ночной бури. Они ничего не знали о том, что происходило в ста сорока километрах от их кофеен — в лесах Сколевских Бескидов. Они не знали, что в эту самую минуту по их

улицам уже едут те, кто прошел вышкол. Те, кто научился презирать их покой, стрелять без промаха и считать их серой массой для заклания.

Глава 4.

К осени две тысячи девятнадцатого года наше братство овладело оружием куда более изощренным, чем дробовики и карабины. Для него не требовалось арендовать стрельбища в Сколевских Бескидах. Оно помещалось в кармане куртки, весило не больше двухсот граммов, пульсировало светом сенсорного экрана и било без осечки, превращая человеческую жизнь в руины с безопасного расстояния.

Уличные марши, тренировки в подвале на Зеленой и спарринги до кровавых соплей никуда не исчезли — они оставались витриной движения, его мускулистым фасадом. Но центр принятия решений и распределение финансовых потоков незаметно, шаг за шагом перетекли в сеть.

Олег Ярославович во время своих регулярных визитов из Киева вдалбливал нам эту истину с академической холодностью хирурга:

— В эпоху гибридных войн физическое насилие архаично, топорно и экономически нерентабельно. Сломать человеку челюсть в подворотне — значит получить уголовное дело, шум в либеральной прессе и судебные издержки. Сломать человеку социальную жизнь через экран смартфона — значит получить безупречный результат без единой капли крови на руках. Заставьте обывателя вздрагивать от каждого уведомления в мессенджере, отнимите у него право на профессию, настройте против него соседей — и он сам приползет на коленях, умоляя о пощаде. Страх перед экраном парализует волю надежнее любого карцера.

Под эту доктрину в полуподвале на Зеленой провели масштабную перестройку.

Дальнюю комнату, где раньше складировали пыльные маты и ржавые гири, за две недели вычистили, обшили звукопоглощающими панелями и выкрасили стены в мышиный цвет. Туда завели оптоволоконный кабель повышенной пропускной способности, смонтировали мощную систему вентиляции и установили вдоль стен четыре длинных стола из темного ДСП. На них выстроились восемь мощных рабочих станций с двумя мониторами на каждое место, батареи бесперебойников, роутеры с бесконечной вереницей мигающих зеленых диодов и серверные стойки с внешними жесткими дисками.

Помещение окрестили лаконично: «Информационный сектор».

Там был свой, густой микроклимат закрытых лабораторий: пахло дорогим эспрессо из капсульной кофемашины, антисептиком для рук и нагретыми серверами, круглосуточно молотившими сетевой трафик.

Руководил этим сектором парень с позывным Стилус.

Внешне Стилус был полной противоположностью нашему подвальному культу силы: тощий, с узкими птичьими плечами, землисто-серым лицом затворника, никогда не видевшего солнца, в вечном растянутом черном худи с надвинутым на лоб капюшоном и очках в роговой оправе с толстенными линзами. В спарринге Назар сбил бы его с ног щелчком пальца. Но в полумраке информационного сектора Стилус был всесильным.

Его тонкие, бледные пальцы с обкусанными ногтями порхали по механической клавиатуре с пулеметной скоростью, порождая хаос и ужас в жизни сотен ничего не подозревающих людей.

— Закон — это фикция для юридических факультетов, — наставительно бубнил Стилус, не отрывая покрасневших от бессонницы глаз от бегущих логов прокси-серверов. — Сегодня трибунал заседает в Telegram и Facebook. Любая человеческая репутация — это просто замок из песка. Достаточно правильной цифровой волны, чтобы смыть его без следа. Человек может тридцать лет безупречно лечить детей, преподавать физику или строить мосты. Но если запустить грамотный медийный вирус — к вечеру он превратится в изгоя, которому аптекарь побо-

ится продать аспирин, а в подъезде на двери напишут краской «Здесь живет мразь». И государство нам за это еще и спасибо скажет.

Меня перевели в сектор Стилуса в начале октября по прямому указанию Хмурого.

Тренер помнил мои успехи в черчении и начерталке в политехе и рассудил прагматично: усидчивость, помноженная на инженерную логику и полное отсутствие жалости, в цифровой травле даст идеальный результат. Мне поручили ведение львовского городского сегмента: мониторинг преподавательских чатов, форумов ОСМД, пабликов вузов и локальных сообществ интеллигенции. Наша официальная директива называлась высокопарно: «Информационная гигиена и выявление латентных агентов влияния». В реальности это была хладнокровная охота на людей, чье мнение хоть на полтона отклонялось от генеральной линии движения.

Технология травли, разработанная Стилусом при поддержке столичных специалистов, работала как конвейер.

Все начиналось со скрининга. Мы загоняли в специальные парсеры ключевые слова-триггеры: сомнения в экономической политике, критику радикальных законов о языке, вопросы о целесообразности переименования улиц, воспоминания о советском периоде без обязательного плевка в прошлое или простые вздохи по поводу неподъемных счетов за отопление. Программа выгребала тысячи постов и комментариев в сутки.

Если автор комментария оказывался публичной фигурой — преподавателем вуза, известным врачом, архитектором, директором коммунального предприятия или журналистом старой закалки, — файл на него ложился в папку «Разработка».

Дальше начинался так называемый «доксинг» — полное снятие цифровой кожи с человека. За два-три часа Стилус через закрытые базы данных мобильных операторов, налоговой службы и слитые банковские реестры вытаскивал на свет божий всё: паспортные данные «мишени», точный домашний адрес с номером квартиры и кодом домофона, маршруты передвижения, марку и номер личного автомобиля, места учебы детей, номера телефонов престарелых родителей и даже клинику, куда жена водила лечить собаку.

Затем формировалась карточка цели. Фотографию жертвы брали из соцсетей, обрабатывали в графическом редакторе — выкручивали контраст, делали лицо одутловатым, желтушным, сальным, добавляли в нижний угол кричащие плашки цвета ядовитой охры: «ПОСОБНИК ВРАГА», «ЛАТЕНТНЫЙ КОЛЛАБОРАНТ», «ПРЕДАТЕЛЬ НА КАФЕДРЕ».

После этого Стилус отдавал команду:

— Залп.

И машина запускалась на полную мощность.

В координационный чат, где сидели сотни активистов и тысячи автоматических бот-аккаунтов, сбрасывалась ссылка и четкая инструкция. В течение первого часа на личную страницу жертвы обрушивался вал из тысяч комментариев. Это была концентрированная, бессмысленная, визжащая клоака ненависти. Туда летели пожелания сдохнуть от рака, угрозы повесить детей на фонарном столбе, порнографические фотожабы, где лицо пожилой учительницы монтировали с телами проституток, и цитаты с намеками на скорую внесудебную расправу.

Одновременно с этим включался автодозвон. Стилус запускал скрипт, который через IP-телефонию начинал непрерывно, с интервалом в тридцать секунд, набирать личный номер жертвы и телефоны ее близких с подменных номеров. Когда человек в панике снимал трубку, из динамика лился либо металлический загробный голос с зачитанным адресом его детей, либо отборный мат под звуки похоронного марша. Телефон превращался в раскаленную жаровню, связь блокировалась полностью.

Финальным аккордом становилась «работа с окружением».

Мы звонили руководству учреждения, где работала жертва — главврачу больницы, ректору института, директору гимназии. Наш оператор говорил поставленным, сухим, угрожающим тоном представителя «возмущенного ветеранского сообщества»: «В вашем коллективе

окопалась вражеская гидра. Ее деятельность задокументирована патриотической общественностью. Если до восемнадцати ноль-ноль приказ об увольнении этого персонажа по статье не будет опубликован на официальном сайте — завтра утром под вашими окнами будут гореть покрышки, а к вам в кабинет зайдут парни с фронта. Думайте о своей репутации и целости стекол».

В девяноста девяти случаях из ста система ломалась моментально. Руководство вузов и больниц, состоявшее из трусливых чиновников, дрожало за свои кресла и бюджетные субсидии. Жертву вызывали на ковер, совали под нос бланк заявления «по собственному желанию» и выставляли за дверь в тот же день. Человек оказывался выброшенным на улицу, с волчьим билетом, — вчерашние коллеги удаляли его из друзей в соцсетях, соседи по лестничной клетке переставали здороваться, отводя взгляды при встрече, а в окна квартиры по ночам летели булыжники.

В первые недели работы в секторе у меня внутри еще шевелилось слабое, фантомное чувство стыда.

По ночам в общежитии, лежа на узкой панцирной койке, я вдруг вспоминал тихую пасеку отца. Вспоминал, как отец часами терпеливо выхаживал пчелиную матку, как бережно ступал по траве, чтобы не раздавить жука, как мать отпаивала молоком захворавшую соседскую девочку. Во мне еще звучало эхо деревенского воспитания, где человеческое достоинство измерялось правдой и трудом.

Но ядовитый дурман вседозволенности выжигал эти остатки совести с невероятной скоростью.

Когда сидишь в удобном кожаном кресле перед двумя огромными мониторами, потягивая горячий кофе с кардамоном, а сотни живых существ по ту сторону сети корчатся от страха, молят о пощаде и стирают свои профили, просыпается страшное, пьянящее чувство власти.

Я не видел слез, не слышал, как на другом конце города плачет от бессилия пожилая женщина, у которой от непрерывного звонка обострилась гипертония. Не чувствовал чужой боли. Передо мной были лишь строчки кода, графики активности, счетчики охватов и конверсия травли в репосты. Цифровой террор невероятно гигиеничен: он избавляет палача от запаха крови и хруста костей.

Евгений Романович Мельник преподавал у нас в политехе историю инженерной мысли и базовый курс материаловедения. Невысокий, полноватый, с мягким пушистым венчиком седых волос вокруг круглой лысины, в неизменном сером твидовом пиджаке с вытертыми замшевыми заплатками на локтях и старомодном шерстяном жилете, он был живым реликтом ушедшей эпохи.

Он никогда не вступал в политические споры, не читал новостей в смартфонах и жил в своем замкнутом, чистом мире чертежей паровых двигателей Уатта, расчетов прочности мостовых ферм Патона и истории первых галицких железных дорог.

Для меня лично Мельник сделал больше, чем любой другой преподаватель.

В первую зимнюю сессию, когда я пришел сдавать зачет, запутавшись в проекциях конуса на наклонную плоскость, он не стал меня топить. Он не отправил меня на пересдачу, хотя имел полное право. Он просидел со мной в пустой аудитории два часа, отодвинув в сторону чайник, и мягко, терпеливо, с карандашом в руке водил моим пальцем по ватману:

— Вы чувствуете плоскость, Богдан. У вас рука верная, крестьянская, основательная. Инженер начинается не со слепого заучивания формул, а с пространственного воображения. Представьте, как этот металл будет дышать под нагрузкой. Не бойтесь чертежа, ведите линию смелее. Дойдете своим умом, я в вас верю.

Он поставил мне твердую четверку, ободряюще пожал руку и угостил сухим галетным печеньем из картонной пачки. Я помнил тепло его руки. Помнил его старый пиджак, пахнущий мелом, сухим табаком и библиотечной пылью.

Но в конце ноября две тысячи девятнадцатого года доцент Мельник совершил роковую ошибку.

В академической группе в Facebook завязалась дискуссия вокруг новой брошюры по альтернативной истории древней Галичины, выпущенной на грантовые средства фондов Олега Ярославовича. В брошюре на полном серьезе утверждалось, что трипольская культура владела технологиями обработки титана, а первые паровые машины были изобретены карпатскими мольфарами за три столетия до промышленной революции в Англии.

Мельник, будучи строгим историком науки, не выдержал. Он оставил под постом вежливый, развернутый комментарий со ссылками на археологические отчеты и труды Академии наук: «Коллеги, патриотизм не может и не должен строиться на дремучем невежестве и подложных источниках. Приписывать древним и средневековым ремесленникам знание металлургии высоких давлений — значит дискредитировать украинскую академическую науку перед мировым сообществом. Ложь, даже произнесенная из самых благих побуждений, остается ложью и обесценивает подлинный подвиг наших предков-исследователей».

Скриншот этого комментария лег на стол Стилуса в понедельник утром.

Его переслал прямо из Киева помощник Олега Ярославовича с короткой припиской: «Политех. Разобраться. Прецедент опасный, сомневается в идеологической линии».

Стилус вызвал меня к своему терминалу.

— Твой факультет, Богдан, — бросил он, поправляя очки и разворачивая ко мне экран с текстом комментария Мельника. На бледных губах программиста играла презрительная усмешка. — Старый козел возомнил себя совестью нации. На кафедре политеха окопался скрытый саботажник. Он подрывает авторитет материалов шефа. Задача предельно ясна: раскатать деда в пыль. Сделать показательную казнь, чтобы остальная профессура даже дышать в нашу сторону боялась. Бери материал в работу.

— Стилус, он… он просто старый историк, — выдавил я, чувствуя, как предательски пересыхает в горле. — Мельник политикой вообще не интересуется. Он про паровозы лекции читает, мухи не обидит. Может, ограничимся предупреждением через нашего человека в деканате? Поговорим, он сам коммент потрет…

Договорить я не успел.

Из темного угла комнаты, где на турнике разминался Назар, раздался скрип подошв. Мой земляк подошел к столу, скрестив массивные руки на груди. Его перебитый нос и нависшие надбровные дуги придавали лицу хищное, давящее выражение. Он наклонился ко мне так близко, что я почувствовал запах его ядреного дезодоранта и жевательного табака:

— Что я слышу, Богданко? — процедил он сквозь зубы, сузив глаза. — Рука задрожала? Старика пожалел? А ты не забыл, чему нас на вышколе в Бескидах учили? «Жалость к слабому — государственная измена». Ты забыл слова Олега Ярославовича про биомассу? Этот твой безобидный дед сейчас плюнул в лицо всему нашему движению. Он ставит под сомнение авторитет людей, которые тебя из деревенской нищеты на свет вытащили и куртку на плечи надели!

К столу неслышно подошел Хмурый. Он положил руку мне на затылок и слегка сжал пальцы — не больно, но с такой неодолимой силой, от которой по спине пробежал холод:

— Выбирай прямо сейчас, Богдан. Либо ты доказываешь, что твой меч острый и в твоей голове нет гнилых сантиментов. Либо ты собираешь манатки, снимаешь шеврон клуба и катишься обратно на свой хутор чистить навоз на свиноферме. Третьего пути нет. Кто колеблется — тот враг. Работай.

Страх снова стать ничтожеством оказался сильнее памяти о человечности.

— Я всё сделаю, Тарас, — произнес я, опуская взгляд на клавиатуру.

— Вот и молодец. — Хмурый разжал пальцы и похлопал меня по плечу. — Сделай красиво.

Я сел за терминал.

Сначала пальцы немели, отказываясь попадать по клавишам, но уже через десять минут включилась та самая ярость, которая делает палача профессионалом. Я открыл файл Мельника и принялся кроить его судьбу.

Я вырвал фразы из его комментария, перекрутил формулировки, добавил ядовитых домыслов. Я написал текст, в котором доцент представал махровым агентом влияния, годами разлагавшим студенческую молодежь, осквернявшим память национальных героев и получавшим финансирование через подставные фонды.

Стилус заглянул через мое плечо, довольно присвистнул и лично прикрутил к посту домашний адрес Мельника, его мобильный телефон и ссылку на страницу его единственной дочери — учительницы начальных классов в спальном районе Сихова.

— Запускай веером по городской сетке, — скомандовал Стилус.

К полудню пост появился в шестнадцати Telegram-каналах с совокупной аудиторией в двести тысяч человек.

Реакция была мгновенной и страшной. Алгоритмы ненависти сработали безупречно. К вечеру под публикацией бушевало больше четырех тысяч комментариев: «Повесить старую тварь!», «Чемодан — вокзал — Сибирь!», «Студенты, вы почему терпите эту падаль на парах? Облить мочой прямо на кафедре!»

Телефон Мельника включили в программу круглосуточного спам-штурма. Стилус вывел на большой настенный монитор статистику звонков: каждые тридцать секунд на номер старика уходил вызов с матерными угрозами, а на автоответчик сыпались пожелания захлебнуться кровью.

В четверг утром я пришел в университет.

В расписании значилась лекция Евгения Романовича по материаловедению в поточной аудитории номер 214.

Я вошел в зал и сел на третьем ряду у окна. Аудитория, рассчитанная на восемьдесят человек, была почти пуста — пришло от силы пятнадцать студентов. Слух о том, что старого доцента «приговорили в сети», уже облетел политех, и большинство предпочло спрятаться по норам, чтобы не запятнаться присутствием на скандале.

Ровно в девять ноль-ноль дверь скрипнула, и в аудиторию вошел Мельник.

Я едва узнал его. За три дня травли старик превратился в тень. Лицо приобрело пепельный оттенок, под глазами набрякли синие мешки, плечи согнулись. Его руки так сильно тряслись, что он не мог с первого раза положить кожаный потертый портфель на край кафедры. Замшевая заплатка на правом локте пиджака была оторвана — видимо, кто-то толкнул его в вестибюле или в транспорте.

Он поднял глаза на аудиторию.

Взгляд его мутных, воспаленных глаз скользнул по пустым скамьям и на долю секунды остановился на мне. Он, конечно, не знал, что текст, разрушивший его жизнь, набрал я. Не знал, что звонки, доводившие его жену до сердечного приступа, шли с серверов в подвале на Зеленой.

Но в его глазах стояло такое беспредельное, немое недоумение ребенка, которого взрослые ни за что бьют ногами по лицу, что мне на секунду показалось — я задыхаюсь. Воздух застрял в легких колючим комком. Мне захотелось провалиться сквозь паркет, исчезнуть, стереть последние три дня.

— Здравствуйте, коллеги… — голос Мельника надломился, прозвучав сипло, еле слышно. Он откашлялся, прижал платок к губам и попытался выпрямиться. — Откройте тетради. Сегодня мы продолжим тему предельных деформаций легированных сталей при циклическом нагружении…

Он взял брусок мела. Повернулся к черной доске. Рука его дрожала, мел крошился, оставляя на поверхности неровную, прерывистую линию.

В этот момент входные двери аудитории распахнулись с оглушительным, пушечным ударом о стену.

В зал ворвались четверо.

Все в одинаковых черных балаклавах с прорезями для глаз, в камуфляжных куртках и перчатках. Впереди широким, развязным шагом двигался Назар. В поднятой правой руке он держал смартфон, ведя прямую трансляцию в главный канал движения; в руке второго активиста покачивалось пятилитровое пластиковое ведро, до краев наполненное густой, ярко-алой масляной краской.

— Внимание, студенты! Проводится люстрация! — зычно гаркнул Назар, и его голос ударил по рядам, заставив сидящих вжать головы в плечи.

Мельник замер у доски, уронив мел. Он медленно повернулся к нападавшим, выставив перед собой испачканные белой пылью ладони, словно слепой, пытающийся нащупать преграду:

— Молодые люди… Что вы себе позволяете?.. Это академическая аудитория… Вы не имеете права…

— Заткни пасть, профессор! — рявкнул Назар, шагнув к кафедре и сунув объектив камеры старику прямо в переносицу. — Ты свое право потерял, когда начал вражескую пропаганду в уши молодежи лить! Землю украинскую топчешь, хлеб наш жрешь и в спину плюешь?!

Второй парень в балаклаве сделал шаг вперед и с широкого замаха выплеснул всё ведро прямо в лицо старику.

Густая алая жижа с чавкающим звуком ударила Мельнику в грудь и голову. Краска залила его седые волосы, очки, потекла по щекам, забивая рот, пропитала воротник белой рубашки и хлынула по твидовому пиджаку, пачкая разложенные на столе методички и журналы учета.

Старик не вскрикнул. Он лишь судорожно, беспомощно всплеснул руками, зашатался и привалился спиной к доске, оставляя на ней широкий кроваво-красный мазок. Он слепо сдирал пальцами липкую краску с глаз, задыхаясь от едкого запаха растворителя:

— За что?.. Господи… за что?..

— Это тебе последнее предупреждение от патриотов Львова! — орал Назар в камеру, упиваясь своим медийным триумфом. — Если к двум часам дня заявления на увольнение по собственному желанию не будет у ректора — в следующий раз в этом ведре будет серная кислота! И не в институте, а у тебя дома! Очистим политех от скверны! Слава нации!

— СМЕРТЬ ВОРОГАМ! — слаженно рявкнули боевики, вскинув кулаки.

Они развернулись и с победным гоготом выскочили в коридор, грохнув дверью.

В аудитории стало тихо, слышно было лишь всхлипывающее дыхание старика да мерный стук: алые капли падали с края кафедры на паркетный пол.

Кап. Кап. Кап.

Мельник стоял, опустив голову. Краска стекала с его подбородка на грудь. Ни один студент в зале не шелохнулся. Никто не подошел к нему. Никто не подал салфетку. Пятнадцать взрослых молодых людей сидели, парализованные животным страхом, боясь даже вздохнуть, чтобы завтра их имена не появились в расстрельных списках Telegram-каналов.

Я сидел на третьем ряду, вцепившись побелевшими пальцами в край парты. Мое сердце колотилось, во рту стоял кислый вкус рвоты.

Но сквозь этот стыд и тошноту во мне снова пробивалось то самое, темное, сатанинское торжество, которое развращает душу навсегда: «Это моя работа. Это сделал я. Несколько сотен символов на клавиатуре — и уважаемый ученый, перед которым трепетал весь факультет, превращен в жалкое, облитое краской чучело. Сила на нашей стороне. Мы диктуем правила этому городу».

К трем часам дня всё было кончено.

Ректорат университета, испугавшись анонсированного штурма здания активистами с файерами, в экстренном порядке оформил увольнение Евгения Романовича Мельника с формулировкой «по собственному желанию в связи с выходом на пенсию». Ни один декан, ни один коллега по кафедре не встал на его защиту. Система сдала своего ветерана за три часа, лишь бы сохранить покой и бюджетное финансирование.

Вечером в штабе на Зеленой праздновали.

Стилус вывел на стену отчет: видеоролик с «люстрацией доцента-саботажника» набрал полмиллиона просмотров, разлетевшись по всей стране. Под постом были десятки тысяч восторженных лайков.

Около восьми вечера в информационный сектор вошел Хмурый. В руках он держал крафтовый конверт. Он подошел к моему столу, положил руку мне на плечо и бросил конверт на клавиатуру:

— Работа выполнена на отлично, Богдан. В Киеве посмотрели отчет. Олег Ярославович лично передал благодарность. Ты доказал, что у тебя холодная голова и верная рука. Это твоя доля за операцию.

Я вскрыл конверт. Внутри лежали новенькие купюры — пять тысяч гривен и пять стодолларовых бумажек с портретом Франклина.

Для студента в конце две тысячи девятнадцатого года это были гигантские деньги. Отец на своей пасеке горбатился за такую сумму два месяца от зари до зари, борясь с клещом, таская ульи и сбывая мед за бесценок перекупщикам. А я заработал их за три часа стука по клавишам и молчаливого наблюдения за тем, как уничтожают беззащитного человека.

Деньги жгли пальцы. От них пахло типографской краской, химией и той сладковатой трупной гнилью, которой пропитаны любые легкие деньги, взятые за чужое горе.

Я сунул купюры во внутренний карман куртки.

Глава 5.

Февраль две тысячи двадцать второго года разорвал привычный ход вещей внезапно, словно лопнувшая под предельным давлением стальная магистраль. Но для тех, кто за четыре предшествующих года научился конвертировать человеческую ненависть в сытую власть, всеобщая катастрофа обернулась головокружительным, фантастическим золотым дождём.

Раннее утро двадцать четвертого числа врезалось в память пронзительным, надрывным воем первых сирен над крышами Львова.

Город, веками упивавшийся собственной буржуазной безмятежностью, в считанные часы впал в ступор. К банкоматам на улице Городоцкой выстроились змеящиеся очереди на сотни метров, в продуктовых лавках испуганные горожане сметали с полок соль, спички и мешки с серой мукой, а над Привокзальной площадью стоял сплошной, оглушительный плач детей и крик растерянных матерей. С востока нескончаемым потоком шли эвакуационные поезда. Из забитых до отказа, душных плацкартных вагонов на перроны вываливалась людская масса — беженцы из Харькова, Сум, Чернигова, с серыми от копоти лицами, с узлами в руках, с собаками на веревках и пустыми, остекленевшими глазами людей, в одну секунду потерявших всё, что создавалось поколениями.

В то утро я впервые за многие месяцы позвонил отцу. Связь хрипела, гудела помехами, но сквозь треск мембраны я отчетливо слышал его надтреснутый голос:

— Богданко… Ты живой там? — в трубке слышалось прерывистое дыхание отца. — Не лезь в пекло, сынок. Мать с утра на коленях перед образами стоит, слезами умывается. Война пришла, Богданко… А война — это кровь и страшная беда. В ней правды нет, одна только смерть да похоронки. Если во Львове туго станет — бросай всё и езжай до дому, в село. Пересидим ульями, картошкой, переждем лихо…

Тогда эти слова показались мне жалкой, старческой немощью. Я слушал отца со снисходительной, брезгливой усмешкой сытого хищника: что мог понимать в механизмах большой политики старый сельский пчеловод, чей кругозор заканчивался оградой яблоневого сада?

В нашем подвале на улице Зелёной царила совсем другая атмосфера. Там не было ни растерянности, ни траура. Там стоял лихорадочный, электрический, хищный дух тотальной мобилизации. По всей стране спортсменов и активистов экстренно привлекали к патрулированию улиц и выявлению вражеских агентов. Нам выдали желтые повязки, комендантские пропуска, резиновые и стальные дубинки и объявили добровольными помощниками по поддержанию порядка. В городе началась охота на метки, маячки и чужаков, закон улиц мгновенно перешел в наши руки.

Светомаскировка первых дней войны превратила ночной Львов в вымерший, слепой склеп.

После наступления комендантского часа старые кривые улочки Подзамче окончательно замирали. В окнах камениц не было ни щели света — жильцы заклеивали стёкла крестами из скотча, завешивали коврами и матрасами; уличные фонари были обесточены. Лишь далекие лучи прожекторов с товарной станции резали низкое сырое небо, да над Высоким Замком через каждые два часа выла сирена воздушной тревоги.

Мы шли вдвоём по брусчатке вдоль стены.

На левых рукавах наших курток поверх ткани желтели свежие повязки патруля самообороны, в карманах лежали бумажные комендантские пропуска с синими печатями районного штаба. Нам внушали, что город наполнен наводчиками, диверсионными группами и вражескими агентами, ставящими люминесцентные метки на крышах. Но для нас с Назаром этот статус стал мгновенным разрешением на всесилие.

Я держал руку в глубоком кармане тактической куртки, сжимая рифлёную рукоять телескопической дубинки. Закалённая сталь холодила пальцы. Одно резкое движение кисти — и короткая трубка с сухим, хлестким щелчком превращалась в полуметровый стальной прут.

Назар шагал рядом широко, упруго, с уверенностью загонщика.

— Город пустой, Богданко, — негромко бросил он, оглядывая тёмные громады фасадов. — Все по подвалам сидят, молятся. А кто на улицах порядок держит? Мы.

— Стой, — я тронул его за рукав. — Впереди кто-то идет.

Со стороны путей товарной станции в узкий створ переулка торопливо вынырнули двое.

Они шли быстро, прижимаясь к стенам домов, пугливо вздрагивая от каждого гудка маневрового тепловоза на путях. В руках несли потертые клетчатые сумки, обмотанные серым упаковочным скотчем. Одеты просто, наспех — видно было людей, только что выбравшихся из переполненного эвакуационного эшелона с востока и пытавшихся в темноте добраться до временного пристанища.

В пустом ночном переулке звуки разносились звонко. До нас отчётливо долетел их разговор — негромкий, уставший, без единого украинского слова:

— …Да подожди ты, Михалыч, не спеши так, — сбивчиво просил молодой. — Сумка порвётся, консервы по брусчатке полетят. Куда тут идти впотьмах? Сказали же, от вокзала на Опрышковскую…

— Да тише ты, Костя, — с одышкой хрипел пожилой. — Комендантский час ведь. Примут патрули — до утра в подвале просидим, ещё и за шпионов посчитают. Быстрее шагай…

Они говорили на чистом русском языке посреди погруженного во тьму Львова первых дней войны.

В атмосфере всеобщей шпиономании и охоты на агентов этот язык сработал мгновенно. Все указания о «диверсантах», вся тревога первых суток и пьянящее право на силу сфокусировались на этом негромком разговоре.

Назар подобрался, словно овчарка, сорвавшаяся с поводка. Глаза его хищно блеснули в полумраке:

— Слыхал? «Михалыч»… «примут»… В первые дни войны, ночью, возле узловой станции шляются. Пошли, проверим агентуру.

Мы шагнули из тени арочного свода, перерезая им путь.

— Стоять! Патруль! — рявкнул Назар.

Я нажал кнопку тактического фонаря. Слепящий белый сноп света ударил обоим прямо в лица.

Мужчины замерли, ослеплённо щурясь и испуганно вскидывая руки к глазам. Пожилой — с глубокими морщинами у глаз, в засаленной куртке — прижал сумку к груди. По инерции он начал оправдываться на том же русском языке:

— Ребята, мы только с поезда… Из Харькова, эвакуация… Вот справки, паспорта…

— На каком языке отвечаешь, мразь?! — Назар шагнул вплотную и ладонью толкнул старшего в плечо. Мужчина покачнулся, ударившись спиной о стену. — Ты куда приехал?! Кто разрешил ночью возле железки шастать?! Метки ставите, суки?!

Старик побледнел, в глазах его застыл ужас. Он судорожно попытался перестроиться, ломая язык и путая слова:

— Хлопці… вибачте… ми не знали… ми біженці…

Но этот испуганный, сбивчивый лепет лишь сильнее разжигал азарт.

Парень помоложе дернулся вперед, пытаясь заслонить старика:

— Послушайте, не трогайте его, он после бомбёжки…

ЩЁЛК-ВЖИК!

Назар с сухим оружейным звоном выбросил дубинку. Вороненая сталь блеснула в белом луче. Он хлёстко, наотмашь полоснул стальным наконечником по боку сумки парня. Ручка

лопнула с треском, сумка рухнула на камни, из разошедшейся молнии посыпались банки и мыльные принадлежности.

— Язык прикусил! — прорычал Назар, вдавливая парня плечом в кирпич. — Ещё слово по-русски пикнешь — поедете в СБУ как наводчики ракет! Там с диверсантами разговор короткий!

Я сделал шаг вперед, выдернул из кармана дубинку и резким взмахом вниз разложил звенья. Щёлк. Тяжесть металла в руке отозвалась в висках горячей волной.

Я навис над пожилым. Тот, дрожа всем телом от потрясения, опустился на корточки у стены, закрывая голову руками, мешая русские и украинские слова в сплошную покаянную скороговорку:

— Не надо… хлопці, не бийте…

Я держал дубинку наготове, уперев её стальной торец ему в плечо, заставляя вжаться в угол. Металл давил сквозь ткань, старик мелко вздрагивал от каждого движения.

Внутри меня в эту секунду поднималось ядовитое упоение.

Двое мужчин, бежавших от реального огня, дрожали у наших ног на ночной брусчатке. Они боялись звука собственного голоса. Они выдавливали чужие слова, понимая, что в этой военной неразберихе их привычный русский язык делал их виноватыми без суда.

И этот страх чужого языка давал нам абсолютную, бесконтрольную власть. Мы решали, кто диверсант, а кто беженец.

— Документы сюда, живо, — скомандовал я.

Старик трясущимися руками достал паспорт. Назар выхватил бумаги, бегло подсветил фонариком, затем залез в потертый кошелек мужчины и вытащил несколько купюр:

— Изъято на нужды территориальной обороны за нарушение режима светомаскировки. Скажите спасибо, что в подвал не увезли.

Назар пнул упавшую сумку в сторону двора:

— Пять минут вам, чтоб смылись от путей. И чтоб русского языка я в этом городе больше не слышал. Пошли вон!

Они не заставили повторять. Подхватив пожитки с земли, мужчины торопливо, почти бегом растворились в сырой темноте переулка.

Мы сложили дубинки, стукнув ими о гранитный бордюр, и спрятали их в карманы.

Назар весело сплюнул сквозь зубы и толкнул меня в плечо:

— Видал, как запели? «Хлопці, вибачте»… Сразу переобулись, как сталь увидели. Порядок в городе будет только тогда, когда каждый чужак пасть открыть будет бояться.

Я не ответил, лишь глубже засунул руки в карманы. Пальцы мелко подрагивали от адреналина.

Мне не было их жаль. Напротив — внутри оседало чувство победы. Мы заставили людей бояться собственного языка под предлогом защиты от врага.

Через две недели уличную самодеятельность свернули — пришло время больших денег. В десятых числах марта из Киева прибыл сам Олег Ярославович.

Он приехал на новеньком бронированном внедорожнике в сопровождении троих автоматчиков в натовском камуфляже «мультикам». Куратор выглядел великолепно: безупречно выбрит, подтянут, в графитовой тактической куртке от престижного швейцарского бренда, со сверкающими круглыми очками на породистом лице. Ни следа паники или фронтовой усталости — в его прищуренных серых глазах горел холодный, математический азарт гроссмейстера, увидевшего перед собой доску и готового снять с неё все фигуры соперника.

Он собрал верхушку нашего филиала — Хмурого, Назара, Стилуса и меня — в бывшей тренерской, заваленной ноутбуками и рациями.

Олег Ярославович медленно снял тонкие кожаные перчатки, положил их на край дубового стола и обвел нас спокойным, гипнотизирующим взглядом:

— Забудьте всё, чем мы занимались до сегодняшнего дня, панове соратники, — произнес он мягким, глубоким баритоном. — Уличные акции, факельные марши, люстрация старых доцентов — всё это было детским садом, подготовкой инструмента. Сейчас открылся бездонный рынок. Война — это величайший перераспределитель материальных благ в истории человечества. Страх смерти парализует критическое мышление обывателя за доли секунды. Сейчас каждый мелкий лавочник, каждый айтишник, каждая домохозяйка в тылу готовы отдать последнее, лишь бы купить себе иллюзию спасения. И наша задача — монополизировать продажу этой иллюзии.

План куратора поражал масштабом и прагматичностью. Информационный сектор Стилуса мгновенно перестроили под гигантский насос для выкачивания донатов и благотворительной помощи.

Мы больше не выискивали «неблагонадежных» преподавателей. Теперь наши мощности работали на нагнетание круглосуточного психоза. Стилус с четырьмя помощниками сутками не отходили от терминалов, монтируя видеоролики. Рецепт был отработан до совершенства: брались самые страшные кадры ударов по жилым кварталам, плачущие раненые, горящая техника, поверх накладывалась тревожная басовая музыка и кричащие кроваво-красные плашки:

«СРОЧНО! ТРЕТИЙ БАТАЛЬОН ПОГИБАЕТ ПОД АРТОЙ! НЕТ СВЯЗИ, НЕТ ТЕПЛОВИЗОРОВ, ПАЦАНЫ СРАЖАЮТСЯ ГОЛЫМИ РУКАМИ! ОСТАЛОСЬ 12 ЧАСОВ! СКИНЬТЕ ХОТЬ 50 ГРИВЕН, СПАСИТЕ ЖИЗНИ НАШИХ СОКОЛОВ!»

Под каждым постом крепилась простыня из банковских реквизитов: счета благотворительного фонда со звучным патриотическим названием, карты подставных волонтеров и анонимные криптокошельки.

И деньги хлынули.

Это был мутный, ревущий океанский прибой. Первые две недели я сидел за банковскими выписками, и у меня перехватывало дыхание от мелькающих цифр. Переводы падали каждую секунду: двести гривен от медсестры из Стрыя, пятьсот гривен от пенсионера из Тернополя, пять тысяч долларов от мигранта из Чикаго, десять тысяч долларов от напуганного киевского криптоинвестора. В сутки через наши счета прокачивалось от двухсот до пятисот тысяч долларов.

Мне поручили логистику распределения и закупки снаряжения.

Первый месяц я искренне полагал, что мы работаем на армию. Я лично мотался на польскую границу — на переходы Шегини и Краковец, где в те дни царил сумасшедший хаос. Мы забирали микроавтобусы, набитые бронежилетами, касками, турникетами, рациями и сухими пайками.

Но очень скоро циничная анатомия этого бизнеса раскрылась передо мной во всей своей омерзительной простоте.

До передовой доходило от силы пятнадцать-двадцать процентов от реально закупленного или присланного из Европы. Ровно столько, сколько требовалось для создания безупречной медийной картинки.

Схема работала как часы. К нашему складу на Зелёной подъезжал разбитый, покрытый грязью армейский пикап с фронта. Из него выходили двое-трое измотанных, худых бойцов с воспаленными глазами. Мы выносили им двадцать коробок: новенькие кевларовые шлемы, три десятка индивидуальных аптечек, две радиостанции «Моторола» и один квадрокоптер «Мавик». Назар лично разворачивал перед капотом знамя нашего движения. Бойцов выстраивали в шеренгу, совали им в руки коробки, фотограф делал снимки с разных ракурсов, а Стилус снимал короткое видео, где один из солдат, запинаясь и смущаясь перед камерой, благодарил наш фонд за «неоценимую помощь фронту».

На следующий день ролик взрывал соцсети: «Очередная колонна снаряжения доставлена защитникам благодаря вашим пожертвованиям!» И под этим видео поток переводов увеличивался вдвое.

Остальные восемьдесят процентов оседали в теневом секторе, где крутились колоссальные наличные деньги. Высококлассная натовская оптика, ночные прицелы, американские бронеплиты четвертого класса, тактическая медицина от лучших производителей — всё это даже не распаковывалось на складе. Ночью к чёрному входу на Зелёной подкатывали гражданские фургоны. Товар перегружался и уходил перекупщикам, которые продавали его через закрытые каналы тем же военным, чьи родственники в отчаянии искали нормальную экипировку на рынках.

Больше того: пользуясь статусом неприкасаемой волонтерской организации и зелеными коридорами на таможне, Олег Ярославович наладил канал контрабанды. Под видом «гуманитарного груза для нужд обороны» в страну фурами завозились элитные партии европейского алкоголя, сигарет, новейших айфонов и брендовой одежды. Таможенники на границе, едва завидев волонтерские пропуска с печатями министерств и нашивки нашего клуба, лишь молча штамповали декларации, не рискуя досматривать опломбированные фуры.

— Ты слишком много думаешь, Богдан, — наставлял меня Назар однажды ночью.

Мы сидели в задней комнате штаба, закрывшись на засов. Назар пересчитывал пухлые банковские пачки стодолларовых купюр, скрепленные резинками, и деловито укладывал их в кожаный кейс.

За эти три весенних месяца мой земляк преобразился до неузнаваемости. От простоватого боксера в нем не осталось и следа. Он раздался в плечах, отрастил густую ухоженную бороду, сменил спортивный костюм на черную полевую форму премиум-класса от 5.11 Tactical, на его мощной шее поблескивала массивная золотая цепь, а на левом запястье тикали швейцарские часы Luminox за две тысячи евро.

— Люди сами несут нам эти деньги, — щелкнул резинкой на очередной пачке Назар и бросил ее в кейс. — Мы никого под дулом пистолета не грабим. Они покупают у нас индульгенцию. Среднестатистический львовский буржуй сидит в теплой кофейне, жрет штрудель и боится собственной тени. Ему стыдно, что он не в окопе. Он переводит нам тысячу гривен — и совесть его чиста, он чувствует себя героем. А мы берем комиссию за посредничество. Это законы рынка, Богданко. Война спишет всё. Кто на войне не поднялся — тот идиот.

Этой «комиссии» не было предела.

Олег Ярославович окончательно перебрался из Киева во Львов, сделав город своей тыловой ставкой. Он снял историческую виллу в престижном районе на Погулянке, окруженную вековыми соснами и высоким кованым забором. Я лично отвозил туда документы и видел эту жизнь: у ворот дежурила частная охрана, во дворе стояли новейшие немецкие внедорожники, в гостиной горел мраморный камин, а вокруг стола крутились молодые холеные содержанки из модельных агентств. На совещаниях куратор с бокалом двадцатипятилетнего виски в руке уже не говорил о нации — он обсуждал с гостями покупку коммерческой недвижимости в Варшаве, элитных апартаментов на испанском побережье в Марбелье и открытие трастовых фондов в Лихтенштейне. Война для них была лучшим бизнес-стартапом в жизни, который ни в коем случае нельзя было позволить свернуть.

А я… я быстро привык к этой сладкой жизни.

Деревенский паренек, который еще недавно ходил по общаге в стоптанных тапках и привозил отцу пустые банки из-под меда, исчез.

За весну двадцать второго года мне выделили стабильный процент от сборов информационного сектора и логистики. В карманах моих брюк карго всегда лежала тугая пачка денег. Я снял просторную двухкомнатную квартиру в новостройке на Стрыйской — с панорамными окнами в пол, дорогой итальянской мебелью и гранитной столешницей на кухне. Я больше не

смотрел на цены в меню стейк-хаусов на площади Рынок. В автосалоне я купил себе черный хищный «Volkswagen Passat» с небольшим пробегом, за рулем которого чувствовал себя полновластным хозяином проспектов.

Совесть изредка подавала голос — слабый, стыдный.

Иногда, пересчитывая пачки купюр, я натыкался на смятую пятидесятигривневую купюру, засунутую в конверт с детским неровным рисунком, где кривой танк, сине-желтый флаг и корявая надпись карандашом: «Нашим героям от Оксанки, 8 лет». В такие секунды к горлу подступал горький комок. Но я тут же заглушал эту вспышку привычными, услужливыми оправданиями: «Ты лично ничего не украл. Ты организуешь процесс. Ты работаешь на движение. В конце концов, часть грузов действительно уходит на восток. А мир устроен жестоко: выживают умнейшие».

Деньги усыпили бдительность. Казалось, эта золотая жила не иссякнет, а мы останемся неприкасаемыми небожителями в глубоком, безопасном тылу.

К концу весны двадцать второго года легкие победные иллюзии первых месяцев начали стремительно испаряться. На востоке разгоралась страшная, позиционная артиллерийская мясорубка под Попасной и Северодонецком. Добровольческие формирования, хлынувшие на фронт в феврале, были обескровлены. Похоронки потекли во Львов сплошным потоком — Марсово поле возле Лычаковского кладбища начало заполняться свежими крестами с государственными флагами, шелестящими на ветру.

Добровольцы закончились. Мужское население начало осознавать масштаб бойни и стало прятаться по квартирам и селам. Армейская машина требовала постоянного, бесперебойного притока свежего человеческого ресурса.

И вот тогда нашему братству была спущена новая директива.

В один из сырых майских вечеров Хмурый вызвал меня и Назара во внутренний двор спортивного клуба. Там стоял длинный микроавтобус цвета хаки с затонированными стеклами без государственных номеров. Рядом с машиной переминались с ноги на ногу двое немолодых мужчин в полевом пикселе — одутловатый майор из районного ТЦК с похмельным взглядом и сержант с армейской планшеткой через плечо.

Хмурый подошел к нам. Лицо его в сумраке было будто вытесанным из старого камня; в глазах не было прежнего фанатичного огня — в них застыла деловая жестокость.

— Собирать донаты в тепле и гонять гуманитарку — это хорошо, хлопцы, — произнес он, не глядя нам в глаза. — Но у государства сменились приоритеты. Деньги есть. Людей нет. План мобилизации по Львовской области сорван на семьдесят процентов. В Киеве подписано негласное соглашение: наш силовой блок привлекается к содействию центрам комплектования.

Он достал из кармана бушлата две темно-синие книжечки с золотыми гербами и пачку черных трикотажных балаклав.

— Официально вы — добровольные помощники правоохранительных органов по охране общественного порядка. Фактически — ударная группа принуждения. Ваша задача — блокировать улицы, отрабатывать общественные места, рынки, автовокзалы, выцеплять уклонистов и паковать в бус. Военные оформят повестки на месте задним числом. Полиция вмешиваться не будет — коридор открыт.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.